



СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора

На терском берегу 3

ПРОЗА

Евгений Шишкин

Маракасы

Рассказ 7

Николай Прокудин

Сибирская трагедия

Рассказ 29

Сергей Скрипаль

Штришки-штришочки

Повесть 49

ПОЭЗИЯ

Станислав Подольский

Стихотворения 133

Валерия Махенько

Стихотворения 139

Елена Гончарова

Стихотворения 145

ПУБЛИЦИСТИКА

Елена Анохина

На круги своя 151

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов

Олег Парфенов

Война и дети 161

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Юрий Козлов

Проданная тень 177

Алена Сугоровская

Анна Ахматова:

«Разрешите поехать

в Кисловодск...» 229

Главный редактор

Владимир Бутенко



Литературное

Ставрополье

№ 1 (2019)



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84(2=411.2)6
УДК 821.161.1-8
Л64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова**

**A72 Литературное Ставрополье. Альманах. -
Ставрополь, 2019 г. — № 1**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Дизайн и вёрстка: С.Е.Стефанова
Корректор: В.Б.Иванов

Сдано в набор 00.09.2019. Подписано в печать 00.09.2019.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10.0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № 318-4. Тираж 979 экз.
Отпечатано в типографии «Фаворит»:
394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Трудовая, дом 50, кв. 10
Тел.: 8-958-649-53-31.

ISBN 978-5-6043052-6-3



На терском берегу

В станицу Галюгаевскую, благоухающую гроздьями акаций, приехал я заблаговременно. Оставив вещи в Доме культуры, тут же попросил директора, крепкого и приветливого молодого человека, Максима Владимировича, показать мне Терек, который видел всего единожды, ещё подростком, в Северной Осетии. Каков посланец гор у нас, на рубеже степного раздолья?

Оказалось, река — рядом, в пяти минутах езды. Наша «Шкода» свернула с асфальтированной улицы на грунтовку, и вскоре с пригорка открылся низменный противоположный берег, вплотную к воде заросший лесом; чуть левей, за речной излучкой, из-за верхушек деревьев выступал минарет мечети — это была уже чеченская земля.

Я выбрался из машины вслед за Максимом (по дороге узнал, что у него недавно родилась дочурка) — и ощутил под ногами упругий пырей, свежесть разнотравья и несущейся мимо, могучей речной стремнины. Течение угадывалось по плавающей, тускловатой поверхности желтоватого



**Страница
главного
редактора**





оттенка, по изредка всплывающим и уходящим вглубь веточкам, щепкам. И по другую сторону, справа, река делала плавный поворот, открывая крутой глинистый берег с клонящимися к воде вязами. А у набитой к рыбацкому месту тропы на нашем пути лежала широченная колода — скорее всего, тополиный чурбан. Прикинул, сколько на нём годовых колец, и удивленно покачал головой: не сосчитать! Должно быть, шумел этот великан листвою, осенял склон ещё при царе-батюшке, до братоубийственной гражданской войны...

— Напротив нас — остров. Там даже блиндаж остался. Говорят, от партизан, — пояснил Максим.

Я кивнул, зная по документам, сколь ожесточёнными был в этом районе бои в конце сорок второго года. Именно в окрестных местах сражались бойцы 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса.

Точно замороженный, оглядывал я речной простор, в густой, глянцевои щетине лес, нежнейшей синевы небо. Выглядел Терек величественным ровным потоком, был вовсе не бурным и кипящим на каменных выступах, как в тогдашнем Орджоникидзе. Сбивчиво мелькали мысли, волнуя и будя воспоминания. Вот на этих самых берегах беспрестанно, из века в век, несли охранную службу казаки, отбивая вылазки горцев и принимая раны с именем Господа на устах; обзаводились семьями, рожали детей — жили своей казачьей судьбой, порой — счастливой, чаще — горькой. Теперь о той жизни в станице свидетельствуют лишь музейные экспонаты да мемориальная хатёнка под черепичной кровлей, с каменным колодцем перед ней. Сменилось множество поколений, эпох, совершенно иным стал повседневный быт, а нечто труднообъяснимое, особая энергетика, оставленная предками-терцами, по-прежнему ощущается и на этом берегу, и на тенистых



улицах Галюгаевской.

Через час начался моноспектакль «Казацкая душа» и, выйдя на сцену, я увидел в зале лица станичников — и юных, и пожилых. И с первых минут почувствовал родство сердец, дружественную ауру, уловил благодарный блеск в зрительских глазах. Удивительно, но за моей спиной, на заднике во всю ширь оказалась захватывающая панорама Терека...

Уезжал я из старинной станицы — крайней на карте Ставрополя — и улыбочивый, и немного грустный. Снова приглашали в гости, одарили настоящим чихирём. Максим Владимирович, культработник толковый и деятельный, поделился своими планами акцентировать работу Дома культуры на казачьей тематике. Я посоветовал ему перенять опыт у новоалександровцев, где открыт и активно работает Казачий культурный центр. Талантливые творческие коллективы, пропагандирующие казачьи песни и танцы, есть во многих районах Ставрополя, но особенно запал мне в душу молодёжный коллектив из Курсавки. Важно, как строят свою работу культработники, насколько творчески привлекают в ряды самодеятельных артистов — казачьих потомков.

А накануне выступление прошло в селе Зелёная Роща. После спектакля поднялся на сцену мой давний знакомый, атаман Сергей Александрович Уваров. Истинный и мужественный казак, земледелец, патриот родного края. Сильная у него рука. И взгляд прямой, доброжелательный — такой бывает только у людей большой души. Полевые работы были в самом разгаре, этим и объяснилось, что в зале большинство составляли молодёжь да казацкие жёны. Договорились, что снова приеду на Казачий круг зимой, когда казакам вольней...

За триста вёрст от Ставрополя лучше понимаешь, насколько необъятен и щедр на природную красоту наш край, как богат на достойных и трудолюбивых людей. А мы, писатели, порой сетуем на взбалмошную и трудную жизнь вокруг, на отсутствие вдохновляющих героев. Это не так. Это совершенно не так! Духовность и силу душ современников я вновь сполна ощутил, повстречал на осиянной майским солнцем терской казачьей земле. И значит, снова потянет меня за письменный стол. Недаром ведь говорят станичники: хлеб и слово — родные братья!



Гости фестиваля «Белая акация»

Маракасы

Кирюшкина разбудил голубь. Впотьмах голубь сел ему на лоб, потоптался увальнем, поворковал — и клюнул в подбородок, а потом — в нос.

— Пшёл! Пшёл, гад! Вот я тебя сейчас! — пригрозил Кирюшкин, хотя спросонок не понял, кто ему мял лицо.

Перед глазами расстилалась мгла со скудным вливанием бокового света, серенького, из квадратного оконца с полувыбитым стеклом. Пахло птичьим помётом, холодным сквозняком, над головой прорисовывалась наклонная балка, под телом чувствовались окатыши. Чердак! Точно: чердак! Кирюшкин заулыбался. Место цивильное — это не где-нибудь в камере спецприёмника.

С одного боку было тепло, даже взопрело под мышкой от близости трубы отопления, другой бок мёрз от необогреваемого ноябрь, климат которого проникал в худые окна. А то, что жизнь происходит где-то в ноябре, Кирюшкин знал обоснованно. На днях, вероятно отметив митингом Октябрь-



**ЕВГЕНИЙ
ШИШКИН**

Проза





скую революцию, по привокзальному подземному переходу шёл гордый, с седыми решительными усами человек в поеденном молью пальто с алым большевистским бантом на лацкане. Напротив Кирюшкина, который играл на маракасах, и Беспалого, который растягивал баян в беспальных перчатках, Большевик остановился, заглянул в футляр, куда с прохожих меломанов сваливалось подаяние, и категорически заявил:

— При нашей власти вы здесь не побирались!

— Точно! — радостно подхватил Кирюшкин. — В тугалитаризме свободы нету!

Большевик вспыхнул, внутри у него из искры возгорелось пламя, он повёл было агитацию, но Беспалый угодливо врезал на баяне «Вихри враждебные», затем перескочил в легендарную «Тачанку», а закончил красное попури «Интернационалом».

— Ради праздника, а не ради Христа, — сказал Большевик, и с его руки в футляр спорхнула бумажка.

«Как раз и набралось на литру перцовки, — вспомнил Кирюшкин. — Так это вчера ведь и было! Или даже сегодня?»

Атмосфера в полуразбитом окне выглядела мутной, неустойчивой и сомнительной, как девка, которая стоит на углу — и сразу не понять: гуляющая она или нет? То ли вечерний сумрак, то ли туманный рассвет? Кирюшкин потрогал щёку и по степени своей небритости, как по часам, определил: всё-таки утро!

Он встал, натянул на голову шапку, которую ласково называл «вороньим гнездом», проверил карманы телогрейки. В одном обнаружил гладенький, симпатичный на ощупь ключ — и тут же его вышвырнул. Нет для Кирюшкина дверей, которые надо открывать ключами! В другом наскрёб горстку семечек.



— Гули-гули-гули-гули. Где ты там, сизокрылый? На-ко вот, подкрепишься с утречка... И как я здесь на верхотуре очутился? Ведь меня Костяная Нога, кажись, в бойлерную провожал? Не-е, лучше не вспоминать! Для непохмельённого человека воспоминанья — одно вредительство. Хуже зудливой бабы... У-у, башкой-то как врезался!

Когда Кирюшкин выбрался на улицу, сразу две идеи охватили его мозг. Первая, всегдашнеутренняя, — податься на вокзал: вокзал — как паук в нитях дорог, там самые длинные подземные переходы, туннели, там многолюдье — значит, место, безусловно, доходное. И вторая — вчера на заброшенной стройке он приметил ящик со шпингалетами, которые можно загнать по дешёвке на рынке. Но сперва — на вокзал! «В Смольный», — усмехнулся Кирюшкин и протиснулся в захватанные, разболтанные, как вся вокзальная жизнь, двери железнодорожного учреждения.

В центре зала стоял долговязый угрюмый милиционер с резиновой дубинкой в руках. Кирюшкина он встретил уничтожающим исподлобным взглядом. Кирюшкин же посмотрел на милиционера и на его чёрный инструмент незлобиво и, умельчая шаги, делаясь как бы меньше ростом и незаметнее, стал пересекать зал, имея при этом в душе некоторую обиду и объяснение: «Я вам, товарищ Долговязый, криминогенную обстановку не попорчу. Зря вы на меня так неуважительно смотрите. Вот если бы я где-то лежал на народе, обсикавшись или обкакавшись, тогда б вы могли меня, конечно, не уважать. А так я от вас, товарищ Долговязый, имею полное право на такое же уважение, как все пассажиры дальнего и пригородного следования... А то, что у меня паспорта нету, так это ж ваша недоработка! Мне-то он и совсем не нужен, я и так себя узнаю. А вот вы, товарищ Долговязый, — власть и должны обеспечить меня документом, пропиской и трудоустройством, а не



дрочить на меня свою резиновую дубину как на вредоносный элемент». С такой продолжительной мыслью Кирюшкин и подошёл к лестнице, уводящей вниз.

Из цокольного этажа вокзала растекались безоконные дороги переходов, где особенный воздух, освещение и жизненный тонус постоянных обитателей.

В небольшой нише, под ржавой трубой с набрякшими каплями, наглухо укрытый разорванными картонными коробами, лежал Конь. Он проживал тут уже не первый год. Ни правопорядок, ни конкуренты, ни уборщицы не могли победить Коня. И если даже по воле властей он пропадал на неделю-две, то потом неминуемо возвращался в свой «денник» и жил безвыездно. Прошлой зимой, в лютые морозы, милиция упорно дожидалась, что на бетонном полу Конь «скопытится», и каждое утро приходила проверить: можно ли его списывать в морг и заказывать казённые похороны? Но Конь выстоял. К нынешнему отопительному сезону власти подготовились основательнее... Кирюшкин склонился над Конём; из недр картонного холма поднималось мерное сопение. «Жив!» — успокоенно отметил Кирюшкин и засеменял по туннелю на зов музыки, на звуки баяна.

Отворотив голову вбок — не оттого, что стыдился за исцарапанную ревнивой сожительницей Лизкой физиономию, а по распространённой привычке баянистов, — Беспалый вёл мотив туго.

— Невмочь на сухую. Подмогай! — призвал он Кирюшкина с видом одного из бурлаков, которые тянут лямку на известной картине о Волге.

Кирюшкин таланта к музыке не имел, но увлекался, мог поддержать игру и создать видимость дуэта. Сперва он вооружался бубном, но сильно им гремел и бил поперёк такта, тогда Беспалый принёс ему красные шары на палочках, начинённые какой-то



крупой. «Маракасы?» — радостно воскликнул Кирюшкин, принимая в руки диковинный инструмент, который сразу ему понравился. Маракасы своей формой напоминали женские груди, издавали звук, схожий с морским прибором, мягко колышущийся, — это вызывало ослепительные представления об экзотической Австралии, Южной Америке и Мадагаскаре; Кирюшкин подчас проникался этой музыкой так, что чувствовал себя папуасом, и даже проходим за умеренную плату предлагал разделить эту эмоцию: «Попробуй-ка вот, дружище! Звук-то с Банановых островов. Как Миклухо-Маклай. Точно?»

Но сегодня, в утро буднего дня, подземная публика поддавалась на музыку плохо, как сонный окунь при ленивом клёве, и долго бы Кирюшкину изображать неопохмелённого папуаса в шуме прибора, а Беспалому выдавливать бурлацкие стоны из несмазанного баяна, если бы не инвалид.

— Надо бы сделать, во, — сказал Костяная Нога, протягивая Кирюшкину картонку и карандаш, а следом оптимистическую бутылку белого.

— Табличку? Так это ж мы сейчас, мигом! — оживился Кирюшкин. Нет ему равных в сочинении для нищих нагрудных табличек и вывесок! Было даже время, когда он, работая в службе быта механиком холодильных установок, на поэтическом конкурсе за стихотворение «Горячее сердце холодильника» получил грамоту и талон на покупку сверхнормативной бутылки водки (было время). Кирюшкин, как живописец, оглядел низкорослое, потёртое обличье Костяной Ноги, подметил детальку: на протезе ботинок чёрный, на целой ноге — коричневый, и приступил писать. «Граждане и господа! Подайте великодушно денежных и валютных средств на лечение хромой ноги! Я был увечен на...»

— Стоп! — прервался Кирюшкин. — Тебе годов скоко?

Костяная Нога слегка разволновался, увел глаза и



ответил наобум:

— Пятьдесят!

— Значит, молод ещё, — покачал головой Кирюшкин. — На инвалида гражданской не потянешь, токо на Отечественную. Тебе бы обрасти, как лешему, да медаль бы старинную, тогда б... У меня Конь за ветерана Куликовской битвы проходит.

— Самому-то сколько годов, помнишь? — встрял Беспалый.

— Сорок три! — выпалил, не раздумывая, Кирюшкин. — Точно! Я токо на свой день рождения никак попасть не могу. Бывало, очнёшься, вспомнишь, а день-то рождения уже прошёл. А ведь хочется каждого угостить! Была б возможность, я бы бочку вина в переход — и каждому по стакану! Беременным женщинам, детям и инвалидам первой группы — по половинке...

— Больно ты добрый, — сказал Беспалый, приготавливая на закуску длинный чинарь из урны.

— Из-за доброты я и с холодильниками простился, — без печали сказал Кирюшкин. — Приходишь на вызов отремонтировать холодильник, а хозяйка тут же — стакан, от чистого сердца. А я безотказен, под девизом работал: слово клиента — закон. Да и организм свой всегда жалел... Вот скажи, Беспалый, ты когда выпьешь, твоему организму лучше?

— Об чём говорить? Я совсем другим делаюсь.

— А твоему, Костяная Нога?

Инвалид так широко улыбнулся, что звукового согласия не требовалось.

— То-то! — по-научному поднял вверх палец Кирюшкин. — Здоровый человеческий организм должен обеспечиваться ежедневной винной долей. Токо тогда он нормален. Трезвый человек — или же совсем дурак, или же болен. Я б всем трезвым больничные листы выписывал. Жаль, что медицина этого ещё не поняла. Да ведь она у нас в стране всегда была в узком месте.



— Хм, — с удовлетворением издал Костяная Нога. Рассуждения Кирюшкина ему нравились; у Костяной Ноги и у самого иногда возникали длинные и, наверное, умные мысли от разных наблюдений за жизнью, но он их или забывал, или не мог так складно и обкатанно выразить.

— ...Трезвый человек, — развивал Кирюшкин, — не токо болен, но и опасен, как буйный помешанный. Пьяные ни революцию, ни войну затевать не станут — это всё трезвенники норовят... Всем бы политическим руководителям с утра по гранёному стакану спирта, тогда б ни войн, ни кровопролитья. Точно!

После выпивки в теле Кирюшкина восстановился привычный комфорт, а на душе раззадорилось — захотелось совершить что-нибудь этакое значительное, как подвиг. Кирюшкин выбрался из подземного перехода, пронёсся по глади застывшей лужи, накатанной беспризорными пацанами, и попылил проворным шагом к стройке: ящик с бесхозными шпингалетами опять вострепелуг прагматическое полушарие мозга.

Давно уже рассвело и подкатывало к полудню, но небо оставалось ватным, однородно-серым и скучным, как жизнь язвенника. Деревья стояли голые; жалкие остатки растительности коченели на газонах; люди шли бледные от пасмурного света, немного мёрзлы, мечтали о настоящей зиме и добротном снеге и ругали гололёд.

Через пару кварталов Кирюшкин поскользнулся, чуть не грохнулся и, сбавив ход, огляделся. Ему показалось, что нужно пересечь улицу, перейти на параллельную, а потом искать нужный проулок и стройку. Но сперва он свернул в ближний тихий переулок, чтобы справить малую нужду. Тут-то он и увидел трёхэтажный ремонтируемый дом. Правда, это был не тот, «со шпингалетами», но тоже под ремонтом, — начатый и быстро заброшенный строителями; обычно строители успевали выбить все



стёкла, поломать двери и коммуникации, и на этом у них заканчивалось финансирование.

Обследовав взглядом изувеченный фасад, Кирюшкин, однако, заметил целые, подозрительно целые окна во втором этаже. «Неспроста. Точно!» — сказал он себе и направился в дом, не встречая на пути достойных преград. Скоро он занырнул в пыльные, ободранные потёмки подъезда. Дверь интересующей квартиры оказалась не заперта: место для замка выхвачено с мясом. Кирюшкин вошёл в просторную переднюю и насторожился.

Вокруг валялись ключья отпавших обоев, отвалившаяся штукатурка и подпотолочная лепнина, старые газеты, рваные строительные рукавицы и кирзовый сапог в извёстке; а где-то лилась вода, должно быть, тёплая: водяной пар мутным облачком расстилался над полом. Кирюшкин ещё сильнее наострил уши.

— Чё встал, как статуя? — огорошил его бабий окрик. Кирюшкина встряхнуло от неожиданности, он испуганно обернулся на голос и вдруг закричал сам:

— Муся?! Кобыла ты беговая! Я ж твоего голосу сразу не понял!

Муся расхохоталась прокуренной хриплой глоткой, папироса затряслась в её руке. Поверх вылинявшей розовенькой комбинации с грязным подолом на плечи Муси наброшено толстое ватное пальто с воротником, который когда-то считался песцовым, ноги — в вязаных гольфах разного рисунка и длины и тупых резиновых ботах. Лицо у Муси хмельное и доброе, как у буфетчицы из пивной в день большой полочки на большом заводе.

— Вы чего тут баню устроили? Воду льёте, пару напустили? — по-хозяйски спросил Кирюшкин и, окончательно осмелев, пошёл оглядывать помещение.

— Здесь у строителей раздевалка была. Они болваны: отопление-то отключили, а воду-то поза-



были. Даже горячая бежит. Греемся. Как замёрзнем, так под душ.

На скособоченном кресле с распоротым подлокотником — видно, из мебели прежних жильцов — лежала чья-то лёгкая куртяжка и женская сумка с махрами на ручке. Как правило, с Мусей путешествовала горбатенькая смуглолицая бабка без верхних зубов и всегда в изорванных чулках, по прозвищу Двести Лет.

— Тоже иди в душ. Погрейся, — посоветовала Муся с лукавством в голосе и улыбке. — Заодно и девку обслужишь. Девке-то хотца!

— Да ты что! — встрепенулся Кирюшкин. — У меня, Муся, и на тебя сегодня никакого азарту нету, а чтоб Двести Лет...

— Иди, иди! — шутливо подталкивала Муся в сторону душевой, где не успокаивалась вода и откуда тоненькой струйкой просачивался свет между косяком и дверью. — Только, гляди, весь-то не траться. Чтоб и мне осталось. Я пока тоже живая! — Она захохотала, впадая в короткую истерику веселья, и ещё настойчивее упёрлась в спину гостя.

Принимать нынче «баню» Кирюшкин не собирався, но поразмыслил, что в душевой можно найти лезвие или одноразовую бритву — и побриться: борода-то ведь любого старит, точно? А разве ж он старик? Не снимая фуфайки и даже шапки, он открыл дверь и вошёл под тусклый свет плафона, в тающие клубы тёплого пара и шум льющейся воды.

Душевая, а точнее — ванная комната, была по масштабам изумительна: дом старорежимный, с выкрутасами, — но сильно захламлена битым кафелем, обломками кирпича; в ванне валялась расколотая раковина и мшистое, толстое колено трубы. А чуть дальше, за целлофановой занавеской на редких прищепках, обильную воду дробил душ. На стене приспособился меж гвоздями запотелый треугольник зеркала, а рядом, на не украденной ещё вешалке,



висел чёрный лифчик. Этот предмет Кирюшкина поразил. Неужто у Двести Лет от груди чего-то осталось? И тут он увидел, что из-под душа, из-под струй воды, в лёгком сумраке пара, словно наваждение, показалась девушка. Невысокого роста, ладненькая, со стройными ножками и молодой необвислой грудью. Тёмные сырые волосы падали у неё на лоб сосульками, чёрные весёлые глаза с любопытством разглядывали Кирюшкина.

— Шапку-то сними, чудо! У меня вот мыло есть. Могу спину потереть, — усмехнулась она. Голос у ней был приветный, с некоторой пьянцой, но незначительной. — Меня Светкой звать. Да ты раздевайся — тут не холодно. Спину-то в одежде не моют, чудо!

Кирюшкин скинул фуфайку, быстро стянул замызганный свитер с бахромой на рукавах; под свитером больше ничего не было, вернее — было его тело, беловатое и неспортивное, но не тщедушное, — нормальное мужиковское тело, даже с удалой порослью на груди. Кирюшкин взглянул на себя, виновато вытащил из углубления пупка свалевшийся ворс свитера и, не решаясь раздеться полностью, подшагнул ближе к душе. Светка тоже сделала небольшой шаг навстречу, не смущаясь при этом своей наготы, а может, и слегка гордясь такой откровенностью... Капли воды поблескивали у неё на плечах, на груди, на животе. Капли воды стекали у неё с волос на лицо, на улыбающиеся губы. Кирюшкин немного стеснительно, немного робея, но всё с большим удовольствием рассматривал её.

— Ты откуда? — наконец спросил он. — Я тебя с Мусей токо первый раз вижу.

— Освободилась я. Полтора года по глупости отсидела... Домой ехала, но какие-то сволочи документы и деньги украли, — ответила Светка, вздохнула. — Больше месяца уже по городу мотаюсь, уехать не могу.



— Я уж десять лет как уехать не могу, — усмехнулся Кирюшкин. Он ещё на полшажка приблизился к ней и понизил голос до вкрадчивого полушёпота: — А ты красивая, и зовут тебя красиво. У меня так жену звали когда-то... И кожа у тебя нежная, сразу видать. — Он бережно дотронулся пальцами до её плеча, словно на ощупь проверял свою догадку.

— Ты тоже ничего. Тебя только постричь да побрить надо, — улыбнулась Светка, провела рукой по отросшим волосам Кирюшкина, по его колючей щеке. — У меня ножницы есть, тут где-то и бритва валялась. Я тебя прибору, ладно? Я умею. Я на парикмахершу раньше училась. — Она была от Кирюшкина очень близко, даже совсем близко; от неё пахло тёплой водой, мылом и чем-то таинственным и далёким... И тут она обняла Кирюшкина, прижалась податливой влажной грудью к его груди, обвила его тёплыми руками. Сладкий озноб прокатился по телу и по душе Кирюшкина. Он наклонил голову, дотянулся губами до её сырых волос, до щеки, до её тёплого дыхания.

— Возьми меня. Я так соскучилась. Ты ведь хороший, — тихо и чуть стыдливо прошептала она сквозь трогательный шум льющейся воды и осторожно расстегнула верхнюю пуговицу на брюках Кирюшкина.

Из подъезда дома, позаброшенного строителями, Кирюшкин выскочил подстриженный, побритый и полураздетый. В свитере да шапке. Свою фуфайку он подарил Светке. Как же не подарить, если у девчонки только ветровка, и та без подкладки!

— Ты, Светик, грейся. Не всё ж тебе под водой сидеть, — укрывал Кирюшкин её плечи. — Я себе раздобуду. Тут учреждение есть. Меня как там раздетого увидят, сразу гардеробу дадут. Точно!

— Чё ж ты тогда? И штаны бы снимал! Ишь, как за молодой-то! — комментировала рыцарство Кирюшкина ёрница Муся. — Весь израсходовался. Мне-то от



тебя ничё не досталось.

— Ты, Муся, не скучай! Кавалера я тебе доставлю. Я человек понятливый, и запросы мне твои известны. У меня для тебя дружок на запасе, твоих же годов.

— Безногий, что ли?

— Безногий ли, безрукий ли — это дело вторичное...

Кирюшкин разговаривал с Мусей, но больше смотрел на Светку. Она сидела в кресле, поджав под себя ноги, кутаясь в фуфайку, и наблюдала за дымом своей папиросы, который задумчиво плыл на свет в окне.

— ...Ты, Муся, токо не напейся раньше времени, — предупредил Кирюшкин.

— Чё? Да где ж напиться-то? Кто бы принес.

— Вот я и принесу. Раздобуду и принесу. Токо никуда не ходите, здесь будьте! Поняли?

Кирюшкин собрался уже в путь, но взгляд Светки остановил его: она чуть прищурилась и улыбнулась ему грустновато-милой улыбкой, которой провожают ненадолго, всего на чуть-чуть, по важной необходимости.

— Будешь меня ждать? — спросил он.

— Угу! — Она часто закивала головой и посильнее съежилась под теплом подаренной фуфайки. — Не задерживайся, чудо!

...Несколько метров — выскочив из дома — Кирюшкин прошагал бессознательно, не соображая, в какую сторону ему короче и удобнее выбираться. Потом резко остановился, повернул назад, но вскоре вновь «обернулся вокруг себя». Он шёл быстро, широко, время от времени для разогрева обнимал себя и растирал ладонями плечи, но был рассеян, невнимателен и забежал в трамвай нужного номера, но «обратного» маршрута. Возможно, он укатил бы далеко, сидя нахохлившись в углу, отстранённый



для окружающего и занятый чем-то глубоко личным, сугубо своим, если бы его не высадили контролёры, перед которыми пришлось выворачивать карманы. Когда Кирюшкин добрался до церкви, дрожал, как осиновый лист: прокалел, посинел, растратил на холоде всю «утрешнюю алкогольную заправку».

Войдя за ограду, Кирюшкин сдёрнул с себя шапку, сложил из озябших пальцев щепоть и перекрестился на купола. Церковные порядки он уважал и в непогоду любил погреться в храме на службе, где оранжевым золотом отблескивали иконные оклады, под которыми зажигался лесок свечей, где густо и торжественно пел на непонятном языке дородный батюшка, распространяя кадильный дым. При всём том Кирюшкин твёрдо считал, что церковь изобрели, в первую очередь, большие грешники и, в первую очередь, для таких же грешников, как они. «На ком грехов больше, те пуще туда и стремятся, им она больше надобна и для них исцелительнее», — с таким рассуждением он ещё раз вдоль и поперек обмахнул себе грудь, глядя на ажурные сквозняки высоких крестов, и направился в трапезную. В тарелке супа тут не откажут — проверено, точно!

К церковной благотворительной пище Кирюшкин относился с почтением. Откусывал хлеб аккуратно, стараясь не ронять крошек; прихлёбывал супом, равномерно распределяя жижу и гущу; кашу съедал дочиста, а чай, прежде чем выпить, изнурительно перемешивал ложечкой, чтобы ни одна крупичка сахара не пропала даром.

В сытом теле скоро настоялось тепло. Кирюшкин благодарно перекрестился на образа и, надев шапку, вышел на улицу. Теперь — в примерочную — так он называл служебное помещение, куда сердобольные прихожане сдавали поношенные вещи, годные для последующего употребления убогим и сирым. Пересекая церковный двор, Кирюшкин остановился



понаблюдать сцену. К воротам подкатила длинная белая легковая машина с затемнёнными стёклами — богатая, очень богатая: выделки тамошней, с блеском и начищенностью всего железного тела; на таких катают матёрых паханов и редкое начальство. Из машины вышла женщина, правильнее — дама. С роскошной блондинистой причёской, налаченной до неподвижности и лоска; с кожаной сумочкой на золотой застёжке; в шубе. Да в какой шубе! Норковой, расклешённой до пят!

У церковной ограды Шуба повязалась тёмной косынкою, спрятала ворох своих буклей, обрела некоторую кротость и, перекрестившись — мелко, по-интеллигентному, — вошла в калитку. Кирюшкин следил за ней недоверчиво, как за безбожником, который тщится в богоугодники, и начинал в своём жалком свитере сильнее мёрзнуть...

Когда Шуба в ауре французской надушенности была поблизости, он сдёрнул с головы своё «гнездо», протянул его нутром кверху и шагнул вперёд.

— Сударыня! Пожертвуйте на пропитание христианину и соотечественнику! — умно выразился он и заглянул в напудренное лицо и просительно, и настойчиво.

Шуба растерялась, остановилась перед напряжённо протянутой шапкой, потом закопошилась, торопливо полезла в сумочку и выдернула оттуда сразу две бумажки. Она, по-видимому, хотела выдернуть одну, да вторая-то ненароком прилепилась к первой, а положить её обратно Шуба не посмела и, желая побыстрее отделаться от просителя, обе купюры сунула в шапку.

— Благодарствую! Благодарствую вам, сударыня! — чинно, с чувством самоуважения ответил Кирюшкин, не показав, что ошарашен величиной пожертвования.

Шуба поднималась по ступеням паперти, под качающейся норкой угадывалась её холеная, поро-



дистая бабья статья. «Да-а, — подумал Кирюшкин. — Видать, много на твоей заднице грехов, если ты такими деньгами откупаешься...»

У привратника в примерочной Кирюшкин убедительно просил выдать ему чего-нибудь на «девчонок, которые мёрзнут», но в этом ему строго отказали, зато, глядя на простоту его одежды — явно не по сезону, — выдали пальто широкого покроя из толстого серого сукна, обношенное весьма умеренно. «Как жених! — оценили его, когда он надел обновку. — Смотри, не пропей!»

Из церкви Кирюшкин напрямиком — в магазин. Страшно хотелось курить и выпить; сперва, конечно, выпить, а затем со смаком в сытый, пьянеющий организм запустить головокружительного никотину.

За углом магазина он в один приём отхлебнул из горлышка треть бутылки водки, запил пивком и жадно закурил «примку». Через минуту-другую он уже испытывал ангельскую уютность мироздания и вспоминал выражение из народной речи: «Сыт, пьян, и нос в табаке. Точно!»

Кирюшкин сделал ещё несколько глотков из той и другой бутылки и пару долгих затяжек сигаретой, чтобы закрепить эффект: температурный баланс и блаженство своего состояния, но вскоре понял, что блаженство этого состояния не только в телесном, физическом кайфе, но и в чём-то другом, ещё в чём-то. Ему вспомнилось, как на кособоком кресле сидела Светка, поджав ноги, и прикрывалась фуфайкой, и дым её папиросы уплывал к окну. Кирюшкин попробовал понять себя глубже, пригляделся к себе, вслушался в себя и почувствовал, что в нём льется какой-то загадочный, волнующий свет. От этого света в душе и было так просторно и тепло! Что-то подобное он уже когда-то испытывал, и он стал копаться в себе, в своём прошлом, доискиваться до первоисточника этого света.



Но ему помешали.

За угол завернула тётка Посуда, зимой и летом не снимавшая валенки и носившая за плечами рюкзак «Ермак», куда складировала порожнюю тару. Нынче она несла на себе ещё и синяк.

— Муженёк удостоил? — кивнул Кирюшкин на фиолетово-жёлтое подглазье.

— Он, скотина.

— Не переживай, с синяком ты гораздо моложе смотришься.

— Это почему же?

— Любая женщина с синяком выглядит моложе.

— Это почему же? — настырно недоумевала Посуда.

— Если бьют — значит ревнуют. Если ревнуют — значит любят. А если любят — значит ты молода! Хорошо ведь быть молодой-то? Точно? — развеселился Кирюшкин. — На-ко вот бутылку. Тут пивко осталось — допивай.

Тем временем кругом побелело. Небо начало осыпаться снегом, обволакивать свеженьким и землю, и дома, и человека. Снег лился ровно, в отсутствие ветра, привлекательный и долгожданный. И все люди, казалось, улыбались ему.

Кирюшкин добрался до вокзала и опустился в переход к рабочему месту Беспалого. Музыка не кончалась, но Беспалый отсутствовал. Вероятно, сожительница Лизка увела его к себе в общагу, чтобы из ревности ещё раз поцарапать ему внешность, а инструмент — баян — арендовал мальчуган-матерщинник Мишка Клоп.

Посасывая сигарету и время от времени выпуская из уголка рта дым, Мишка Клоп гонял одну и ту же, единственно разученную, мелодию. Кирюшкин подкрался к нему сбоку, незаметно, вырвал изо рта сигарету и растоптал её, как гадючинку.

— Молод ещё принимать табак! Не вырастешь —



девки любить не будут! Девки токо высоких и видных любят!

Мишка Клоп выматерился и плаксиво изменился в чумазом лице.

— Лучше, вот, глотни для согреванья и не сквернословь! И с малолетства заруби: полезнее немного выпивки, чем сигаретина. Все долгожители некурящие, но пьют для сохранности здоровья регулярно.

Мишка Клоп снял надорванную пробку с поданной бутылки и присосался розовым ртом. Кирюшкин зорко сёк, чтобы тот принял лишь бодрительную дозу соответственно своему малому возрасту и весу.

— Стоп! — отнял он бутылку.

Мишка Клоп сморщился, вытащил из кармана жвачку, закусил водку сладким чавканьем.

— Поиграешь со мной? — по-товарищески спросил он, указывая на маракасы.

Кирюшкин посмотрел на них с ласковой улыбкой: теперь-то они напоминали конкретные женские груди, — и опять почувствовал в себе присутствие и волнение внутреннего света.

— Нет, Клоп, некогда мне. Я же... — Он заторопился и зашагал дальше по туннелю.

Но возле ниши, где лежал Конь, всё-таки затормозил. Присел на корточки. Конь лежал открытым, без картонных коробок, которые издревле служили ему одеялом, но с замкнутыми глазами. Он густо, капитально оброс бородой; грива у него спуталась, склеилась в толстые пряди; и там и тут проступала жёлто-серая седина. Вдруг откуда-то из лохмотьев одежды, возможно из кармана, вылезла смуглая и большая, как хоккейная крага, рука Коня и почесала голову.

— Вошки донимают? — поинтересовался Кирюшкин.

Конь открыл глаза, и на его обросшем лице появился некий приветливый эскиз. Конь чуть приподнял руку. Это было одновременно жестом узнавания — мол, Конь помнит тебя, и знаком согласия — мол,



вша хоть и мелкая живность, меньше любого милиционера, но такая же донимучая.

Кирюшкин потрогал трубу над Конём. Холодная как лёд. Видно, заставили вокзального сантехника отключить, чтобы полностью отсечь доступ общественного тепла к «стойлу».

— Да-а, — покачал головой Кирюшкин. — Ты сильно захипповал, Конь. Это теперь опасно. Скоро ударят морозы, враги ждут, что эту зиму ты не выдержишь. Даже сантехник на их стороне.

Конь ничего не промолвил, но мимика той части лица, куда не проник волос, выражала непокорность.

— Ничего, Конь, я буду помогать тебе. Мы ещё поглядим, кто кого? Точно?.. На-ко вот, утешься! — Кирюшкин поставил перед ним поллитровку.

Лицо Коня оживилось благодарным рисунком. Опять откуда-то из лохмотьев вылезла рука и, словно ковш экскаватора, потянулась к бутылке, обняла её, возвратилась к тому месту бороды, где предполагался рот. Венчик горлышка скрылся в нитях усов и бороды, бутылка запрокинулась кверху дном: жидкость в ней стала пузыриться и убывать. Кирюшкин немного затревожился: туда ли, по назначению ли уходит влага? Однако глаза Коня выражали сосредоточенность и удовлетворение, и он успокоился.

— Туда, — сказал он и пошёл дальше, в другое ответвление перехода. Костяная Нога сидел на ящике, демонстрировал культу и самозабвенно, перед каждым — и попадя и не попадя — крестился, закатывая глаза и мотая головой.

— Ну хватит тебе, передохни! — рассмеялся Кирюшкин, когда Костяная Нога и перед ним стал отвешивать поклоны. — Я уж за тебя отмолился.

— Не признал. Ей-Бог, не признал, — оправдывался инвалид, прекратив знамения и проморгавшись на друга. — Одежда у тебя обновлённая. И личностью



обмолодел.

— Ты скоро тоже обмолодеешь, — усмехнулся Кирюшкин, представляя, как «вручит» кавалера сладострастной Мусе. — Пристёгивай свою ногу — и пошли! Девчонки-то ждут!

Костяная Нога вопросов не задавал, полез в ящик, куда припрятал протез.

Они выбрались из подземных лабиринтов наверх и пристроились к ближайшему «комку». Кирюшкин пересёк взглядом зарешёченную витрину и согнулся к окошку.

— Вот что, голуба, — начал он, кое-что говоря молодой киоскерше вслух, а кое-что проговаривая про себя. — Две водки мне давай, токо неподдельные, и вон ту пузатую бутылку... Да какой ещё шампунь? Шампунь сама пей! Ликеру! Девчонкам водку закрашивать... И шоколадку... Какую-какую? Качественную! Ну ты и дурёха!.. Чего? Какой ещё «спикерс»? Ты мне, голуба, мозги не вороти, ты этот «спикерс» знаешь куда... вот, точно! «Алёнку» давай! И сигарет, с фильтром. Вон тех, с ишаком на картинке... А кто это? Верблюды? Так ведь они ж из одного семейства, лишь бы хорошие были, мне ж не для шантрапы какой-нибудь, а для девчонок!.. Деньги подавать? Так подам, подам, голуба. На-ко вот тебе, чего беспокоишься? Тебя же вон мордоворот с Кавказа охраняет. Да и разве Кирюшкин уйдёт без оплаты, дурёха ты в окошке?

Распределив по карманам покупки, Кирюшкин обменялся впечатлениями с Костяной Ногой о нынешнем снеге, вернее — он только сам выразил мнение, а инвалид поддержал его кивками и соглашительным прищуром.

Снегопад был сейчас ещё замечательнее: загустел, укрупнился, хлопья ощущались даже на вес, они быстро покрывали шапки и плечи, а если поднять голову вверх, то от изобилия и движения белых пятен свежо и сладостно кружилась голова и появля-



лось чувство полёта... У Костяной Ноги от снега побелела на лице щетина, и это Кирюшкина забавляло.

Посреди привокзальной площади стояла торговка воздушными шарами с ярко покрашенным ртом. Да и шары у неё были яркие, разных конфигураций, с потешными рисунками, — надутые, видно, особым газом, так что рвались вверх.

— Замёрзла, Красногубая? — по-свойски окликнул её Кирюшкин.

— Покупай, барин, товар — и мёрзнуть не буду! — на той же фамильярной ноте отозвалась Красногубая.

Кирюшкин запустил руку в карман, зачерпнул оттуда все оставшиеся деньги и подал ей горстью.

— Хватит?

— Даже сдача.

— Сдачу ты нищим отдай. А мне вон тот. Да токо чтоб без обману, чтоб не сдулся. Мне же в подарок.

Выбранным воздушным шаром было красное блестящее сердце, которое слегка трепыхалось на прочной нитке. Костяная Нога задрал голову, чтобы поточнее разглядеть покупку друга. Он не понимал, зачем понадобилось отдать последние деньги на воздушное сердце, но интуитивно одобрял этот шаг.

— На-ко вот! — сказал Кирюшкин и стал приматывать нить с сердцем к руке инвалида. — Чуешь, как оно в небо тянет?

— Немного есть, — согласился Костяная Нога, пробуя нить.

— То-то! Тебя, одноногого, подтягивать вверх будет — значит, идти легче. Легче ведь? Точно? — сказал Кирюшкин и всерьёз поверил, что теперь ходу инвалида будет способствовать маленький «дирижабль».

А снег по-прежнему облеплял лица, фигуры, дома, улицы. Весь город погружался в океан, в бездну



этого снега. И белый цвет на всём был как на невесте...

Кирюшкин и Костяная Нога шли в разных темпах. Один произвольно, в силу своего темперамента и возможностей обеих ног, забежал вперёд, а забежав вперёд, оборачивался и, подбадривая выкриками, дожидался второго, хромоногого. Красное, блестящее фольгой сердце колыхалось над их головами.

У перекрёстка из-под пелены снега проступил металлический бок «вырезвительной» машины с окошком в клетку. Низенький и круглый, как мячик, милицейский сержант подсаживал на лесенку и направлял в лоно кузова пьяненького мужичка в очках и недурной пыжиковой шапке. Пыжик был не настолько пьян, чтобы не добраться до дому без подмоги, но Мячик неуступчиво подсаживал его и не внимал уговорам.

— Нельзя туда, переждём, — опасливо зашептал Костяная Нога.

Но Кирюшкин лишь усмехнулся опасности и, по-военному приложив руку к виску, выкрикнул:

— Здравия вам желаем, товарищ сержант! Добро-го вам улова!

Мячик косо взглянул в ответ и махнул рукой: дескать, проваливайте!

— Ты пойми, Костяная Нога, — объяснял Кирюшкин, — вырезвителью мы без интереса. Я ж этого Мячика и раньше встречал, он с нами связываться не будет. Взять-то с нас нечего! Штрафов мы не заплатим? Не заплатим! Начальство нас на работе не поругает? Не поругает! Нету над нами с тобой начальников! Нету! Точно? — весело воскликнул Кирюшкин. — Даже баба, и та пилить нас с тобой не может. Не может ведь?

Костяная Нога, понимая под «бабой» не иначе как жену, успокоенно закивал головой.

Мячик загрузил-таки Пыжика в фургон; машина захлопнула дверцы, заурчала и укатила куда-то в



снегопад собирать по улицам имущих пьяниц для милицейской самокупаемости и хозрасчёта. Путь для Кирюшкина и Костяной Ноги был свободен.

Они миновали перекрёсток, повернули на другую улицу, протянули ещё квартал. Кирюшкин, опять же рассеянный, по нечаянности уходил вперёд, Костяная Нога с усилиями плёлся позади, реял красным надувным сердцем. Убегая вперед, Кирюшкин останавливался и иногда погружался в какую-то счастливую задумчивость: он как будто уже нащупал то, что ему нужно схватить, но ещё не схватил, но уже нащупал. Он уже был близок к разгадке: откуда у него тот чистый волнующий свет в душе.

— Не спеши, Костяная Нога, не спеши, — обернулся он к товарищу. — Я уж и так тебя загнал.

Костяная Нога виновато улыбнулся, а Кирюшкин вытащил из кармана бутылку водки, свернул ей накрученную голову:

— На-ко вот, заглоти! На подсосе покатим... Девчонки на нас в обиде не будут. Не за что им на нас обижаться! Никому — не за что! Точно? — Кирюшкин, глядя в знакомые, тёплые морщинки скромно улыбающегося инвалида, обнял его. — Ничего, Костяная Нога, мы дойдём. Теперь-то я понял, откуда во мне это... — И крупные, мягкие снежинки падали на просветлённое лицо Кирюшкина.

И неважно, что они прошли то место, где надо было сворачивать, и теперь удалялись и удалялись от нужного переулка. И неважно, что в том ремонтируемом доме уже никого не было, потому что девчонок неожиданно выселили пожарники. И даже неважно, что Кирюшкин никогда больше не встретит, не увидит, не обнимет Светку и не подарит ей своё «сердце»... Главное — он понял, что он влюблён, что такой же свет струился в нём от первой, далёкой любви, и что для него и этот снег, и этот мир, и эта бесконечная дорога, и бесконечная жизнь.



Моему деду,
Александру Мартемьяновичу
Прокудину,
посвящается

Сибирская трагедия

Ранним морозным утром Александр возвращался с ночного дежурства в пожарной части, усталый и голодный. До начала занятий в институте в этот день было ещё несколько часов, и он решил навестить родителей. К общежитию путь неблизкий, а в отчем доме можно позавтракать и отдохнуть. Да и совет отцовский нужен — сегодня вечером необходимо дать ответ руководству на один непростой вопрос.

Родительский дом, крепкий рубленый пятистенок, был одним из самых больших в шахтовой слободке, и виден он был издалека. Глядя на прочное, солидное строение, каждый понимал, что люди здесь живут серьёзные и работающие, да и хозяин — человек основательный. Конечно, и семья в нём размещалась немалая. А была бы и ещё больше, кабы не умерли четверо из семи детей.

Батя в последнее время работал маркшейдером, а до этого кем он только не вкалывал: и откатчиком, и забойщи-



**НИКОЛАЙ
ПРОКУДИН**

Проза





ком, и десятником, и мастером. Мать целыми днями возилась с большим хлопотным хозяйством. В общем, не бедствовала семья в последние годы, не то что раньше.

Александр обмёл у порога валенки, вошел в сени, снял обувь и шагнул в горницу.

— А, Саньша пришел! — открыл глаза дремавший у печи родной дядька и радостно поприветствовал племянника.

— Здравствуй, дядя Проня, — отозвался Александр. — Тятя дома?

— Чечас возвернуться должен! В лабаз Костя пошёл, за карасином. И «шкалик» мяне обещал принесть. Что-то кости ноют и ноги мёрзнут, хочю кровь погонять, слегка разогнать организму старую.

Дядя Проня, старший брат отца, по причине своего возраста редко выходил из дома. И зимой и летом не снимал валенки и толстую безрукавку из овчины. Мерзлявый стал с годами. Судьба у дядьки сложилась непросто. После смерти в туруханской ссылке его жены в начале пятидесятых годов, дядю Проню ввиду дряхлости и беспомощности отпустили на Родину. Но все трое его сыновей, как оказалось, погибли на фронте. Дом конфисковали, и жить было негде. Тогда отец разыскал брата Проню, привёл его к себе и приютил. Сколотил одинокому брательнику небольшой топчан, постелил перину, обул, одел и строго наказал домочадцам относиться к обездоленному с почтением и уважением. Разница в возрасте между братьями была довольна большой — двадцать лет. За эти двадцать годочков родились в семье ни много ни мало восемь душ детей, но выжили только они двое — старший и младший.

Дед Проня летом с раннего утра садился на лавочку у ворот и целый день до захода солнышка, склонив голову на грудь, дремал. Так и проводил день за днём на солнцепёке — в фуфайке, в пимах и шапке, недви-



жимо, и лишь ветер трепал его шевелюру и ворошил седую бороду. Если прохожие спрашивали в шутку: «Дед, ты не замёрз?», то он отвечал с усмешкой: «Но и не вспотел!»

— Как жизнь, Саньша? Что нового? — поинтересовался не из любопытства, а так, для поддержания разговора, дядя Проня.

— Да помаленьку, без перемен. Остался еще год учёбы в институте, да уж скорее бы доучиться!

— Время летит быстро, не успеешь оглянуться, как уже дохтуром будешь! Бушь меня лечить. А ишо чо хорошего?

— Ну, прямо не знаю, как сказать, хорошее это или плохое. Предлагают мне в партию вступить, завкафедрой — так тот даже настаивает. Я ведь лаборантом на полставки работаю, а им нужен рост рядов. Для приёма в КПСС одного преподавателя требуется вместе с ним принять трёх человек из технического персонала. А у меня и биография подходящая: в армии служил, бывший горняк, спортсмен.

— Значит, говоришь, в партию тянут, расстудят её через коромысло! В «большаки», значит! Чудно! А какая же биография годная, ежели отец у тебя был «сильно каторжным», да я — раскулаченный? В роду скрозь одни «враги народа»: кулаки, троцкисты и шпиёны...

— Ну, дядя, другие времена! Со сталинизмом покончено, партия обновляется.

— Ох-хо-хо! Она-то обновляется?.. — вздохнул дед. — И ты что решил, тоже обновиться?

— Да вот, с тяткой хочу посоветоваться — как быть?

— Совет — дело хорошее, — согласился дед. — Отчего бы и не посоветоваться?

Старших надо уважить. Ране как жили? Мне годов было боле сорока, а отец порой кнутом мог огреть, если поперёк чаво скажу. Суровый был мушщина.



Быка-двухлетку брал за уши и наземь валил, не кряхтя. Телегу за заднюю ось поднимал и колесо в одиночку без помочьников менял. Во как! Таперича таких нет...

Дядя Проня опять задремал, негромко похрапывая. Александр сидел тихо, чтобы не мешать старику. В русской печке потрескивали дрова, часы-ходики монотонно отсчитывали время, в трубе глухо завывал ветер. А в доме было тепло и покойно. Вскоре Александр и сам закемарил.

Вдруг в сенях хлопнула дверь, и в избу в клубах холодного воздуха ввалился раскрасневшийся от мороза отец.

— Здравствуйте, папа! — обрадовано встрепенулся Александр.

— Здорово живешь, паря! Рад, что зашел попроведовать! Садись с нами, выпей чуток для сугрева. Закуси. Сейчас мать прибежит, на стол соберёт. Я ей уже шумнул.

— Спасибо, поесть поем, а пить не стану: в институт скоро.

— А, ну да, ну да! Ты же у нас грамотей! Учащийся! Только учёба-то твоя покуда сытым тебя не делает!

Очнувшийся от старческой дремоты дядя Проня поинтересовался:

— Что, Кинстентин, принёс «казёнки»?

— Принёс. А карасина не купил. Не завезли. Вот жисть пошла! Водка есть, а карасина или мануфактуры какой, того же мяса, маслица — нет. За хлебушком — очереди. Молоко и сметана как водица! Советска власть, будь она неладна, озаботилась! В закромах Родины, как в газетёнках нынешних пишут, товары наши осели. А где эти «закрома», нам, простым людям, неведомо! Куммунисты всё, наверное, сожрали! Подчистую! При старом режиме без энтих закровов куды как сытней жили.



— Слышь, Кинстеннин, а Саньку тожа в «большаки» вербуют. Ноне пришёл за советом к тебе, — встрепенулся окончательно проснувшийся дядька.

— Н-да! Дела! — вслух удивился отец. — Тебя? В партейные? В куммунисты?

— Ну да, других партий у нас, как известно, нет! Предложили всгупить. Не знаю, что и делать, — вздохнул Александр.

— Вечно народ впопыхах куды-то вступает: то в говно, то в партию. Ты, Саня, садись, в ногах правды нет. Проня, и ты сидай к столу живо, а не то баба придет, бубнить станет. Шибчей! Покуда старуха не прибежала, один «шкалик» щас приговорим. А второй — опосля. Его я заместо карасина купил. Ты порежь, Санька, сало, хлебушко, лучок. Вот молодца! Ешь! А мы с брательником родителей наших помянем, уж больно ты мне душу разбередил своим спросом! Не люблю я на справки отвечать, я их люблю задавать...

Старики выпили, крякнули. Закусили и о чём-то задумались, не торопясь пережёвывая закуску.

— Ты послушай меня, Саньша. Я тяжёлую жисть прожил, много натерпелся. С утра до вечера работа, работа, работа! По душам покалякать некогда. Тебе уже двадцать шестой годок пошёл. Большенький — свой ум нажил. Но ты вникни и в стариковское понятие о жизни. В партию эту проклятую вступить, конечно, надьть, а то тебе в дальнейшей жисти туго будет, — наставлял Саньку отец.

— Точно-точно, туго! Он тут похвалялся, что его биография подходящца! Так начальники сказывали. "Ссылно-каторжная" родня, а он им глянулся! — вступил в разговор дядя Проня, вытирая слезящиеся глаза.

— Сына, ты спрашиваешь, что делать? Соглашаться! Кто их знает, скока лет власть эта разбойничья продержится? Могёт быть, ещё очень долго она



проживёт. Сорок пять годов держится! А на чём стоит? На крови людской, на горе и смертях! Варнаки проклятые, навязались на нашу голову! Нам историю семьи нашей обсудить никак не удавалось ранее: то ты ещё пацан несмышлёный, то в армии, то шахта, то учёба. А история занятная и трагическая! У тебя имеется часок в запасе послушать?

— Да, конечно, до начала занятий еще пара часов. Сын в детсаду, жена на работе – так что время до лекции есть, – согласился Александр.

— До лехсцыи... Хм. Тогда, Проня, по второй. Опосля разговоры говорить станем.

Деды снова выпили, опять крикнули, закусили ломтями хлеба и нарезанным салом толщиной в ладонь. Отец продолжил:

— До большаковского переворота наши предки обитали в селении Тараданово. Уже более ста лет родня наша крестьянствовала. И отец Мартемьян, и дед Трофим, и отец деда, и ещё до него дед Сафон. Но случилась ента беда — «красная» напасть. Поначалу было спокойно: белые и красные объявились только в больших городах да на узловых станциях. Воевали между собой, стреляли друг в друга, нас, простых землепашцев, это не касалось. Нам ничего от властей не надобно было: ни при царе, ни при Херенском, ни при Колчаке, ни при большевиках! Земли — бари сколь хошь! Обрабатывай, покуда силы есть! Тверёзные мужики завсегда хорошо жили, справно! А голю перекатной кто был? Пьяницы, шалопутные да бездельники-лежебоки. У тяти нашего земли под ногами лежало столько, что пешком не обойти. Три амбара стояли полные зерна. А ведь это только на семена и муку. А вот, слышь-ка, ишо несколько десятков возов завсегда на продажу оставалось, и батя всю зиму на базаре зерном приторговывал. Телеги дёгтем не смазывал, мёдом обходился, оттого что медку этого до конца ни съесть, ни продать



никогда не удавалось. Ульев с полсотни было, отец бортничал в охотку, для удовольствия. А дёготь покупной экономил. Лошадок на дворе было с десяток, из которых две исключительно для выезда. Коров голов двадцать, бычки, да штук тридцать свинок. А кур, гусей и уток никто не пересчитывал. Чаго птицу считать-то?

Но настала после царя смута, пришла новая власть, всё имущество продотряды отобрали. Очухались — новое добро нажили. Но опять пришли архаровцы, имущество наше описали да налогом и обложили. Отец всё сполна заплатил. Прошло ещё два месяца, и вновь задание правителей — повторный налог. Заплатили и его большевикам, до копейки рассчитались. Но этим кровопийцам мало! Составили активисты список кулаков, богатеев и подкулачников. Мы одними из первых попали в этот список.

И вот как-то утром явились в село войска. Окружили со всех сторон и пошли по дворам озорничать. ЧОНовцами* назывались. Дворов в дяревне много, около тыщцы. Из конца в конец пройдёшь пешком — устанешь. В кулаки и подкулачники определили тогда третью часть всего населения. Мужиков из домов повыпикивали, отвели к оврагу. Остальным на сборы дали полчаса.

Согнали, значит, баб и детишек — кто попал в списки — на окраину села. Что успели прихватить с собой, с тем и вышли. Ни вещей, ни одёжи, ни скотины. Всё добро осталось во дворах. В нашу избу вломились два молодых красноармейца с винтовками: один встал на середину избы, а сам глазищами по углам так и шарит, другой прикладом детей из дома выталкивает. Мамаля хотела чугунок с картошкой варёной взять — не дали. Нельзя! Так и выставили за ворота с пустыми руками. Народу собралось за селом немерено. Отделили от толпы около сотни мужиков,



тех, кто когда-то на сходках много говорил, и провозгласили их активными подстрекателями к неповиновению новой власти, свели в овраг да и постреляли всех враз.

Остальную почитай тысячу народа — мужичков, баб, стариков, детишек — погнали к городу. Привели на берег реки и посадили на землю — баржу ждать. А на дворе конец осени: дожди пошли, подморозило, иней на траве, холодный ветер гуляет, а затем и снежок запорошил. Кажну ночь заморозки. Детишки и старики стали простужаться, болеть. Еды не дают — ослаб народ... и пошёл мор. А вокруг солдаты с винтовками и пулемётами, домой никого не пускают. Ни еды, ни одежды. Так тогда всю траву вокруг поели.

Через трое суток баржу притянули, погрузили народ, как скотину, и повезли неведомо куда. А на берегу остались лежать десятки окоченевших мертвяков: в основном стариков и детей. На барже мой младшенький, Антоша, умер.

Повезли нас из Сибири в Сибирь — в Нарым. Недаром говорят, что дальше Сибири не сошлётся. В Нарым так в Нарым. Доставили, выгрузили — обживайтесь... А как обживаться-то? Вокруг Богом забытые деревеньки в пять домов. Окрест — одни болота: трясина, хляби, топи! Но делать нечего. Навалили деревьев, напилили досок из стволов, сколотили домик. Поселились... Только начали обживаться, приехало начальство. «НКВДшники». Выгнали нас, сердешных, из построенных лачуг. Пожили — хватит! Спозаранку всех ссыльных погнали по берегу Томи, дальше на север. И побрели мы в холодные края, оставляя за собой тела односельчан. К новому лагерю лишь половина народа добралась. Самые слабые — дети, бабы и старики — поумирали дорогой. Совсем из сил выбились. Наконец какой-то начальник указал нам на новое место для жилья.



Смотрю — ишшо худшее, гиблое, зловонное болото. Строевого леса уже нет — чахлые деревца да кусты. Мы с отцом вырыли землянку, перекрыли крышу досками. Не успели жильё соорудить, как умер мой старший сын Иван. Десятилетнему трудно выдюжить — голод, холод и сырость, болезни разные.

Прошел год. Однажды осенью отец отозвал меня в сторону и говорит: спасайся, Костя, беги, пока есть силы. Иначе — гибель! Обоснуешься и, Бог даст, нас выручишь! И я сбежал. Шёл днями и ночами. Когда уставал, ночевал в стожках или сгребал листья в большую кучу и зарывался в неё. Утром просыпаешься — волосы покрыты инеем, а полушубок к земле примёрз. Передвигался украдкой, в сёла старался не заходить. Моя пища была — ягоды, грибы да рыба. Отощал. Как-то раз сильно замёрз — пришлось выйти к людям. Смотрю: мужик землю пашет под озимые. Подошёл, хлебца попросил. Он дал мне краюху и говорит: посиди, мол, под телегой, сейчас схожу в село, из дома ещё чего-нибудь принесу. Жду. А через какое-то время скачут на лошадях милиционеры и ещё несколько вооружённых людей. До леса далеко. Не убег. Схватили, привели в сельсовет, допросили. Долго били и посадили в холодную баню. Лежу, прижав ухо к двери, и слушаю разговоры милиционера и других активистов — спорят о том, кто меня расстреливать будет: то ли самим на месте меня прикончить, то ли отвезти в город, а там пушай ЧК разберется. Решили в город везти и ежели решат уездные чекисты, что виновен, то там и шлёпнут.

Внутри у меня всё похолодело и обмерло: ну, думаю, пришла моя смертушка! Когда они ушли, разбежался, толкнул дверь плечом, но запор крепким оказался. Я заметался, как загнанный зверь. После успокоился, стал соображать, что делать. Мне-то еще и тридцати не было, по годам почти как ты был, жить шибко хочется. Огляделся. Стены и



потолок бревенчатые. Окон нет, пол дощатый. Я заполз под полок, смотрю: доски подгнили. Повезло! Отодрал три доски, всю ночь рыл землю, чтобы под стену подлезть. Изодрав пальцы и руки в кровь, обломав ногти, сделал лаз. Разделся догола и протиснулся в него. Грязный, оборванный и голодный, из последних сил побежал в лес. Хищные звери, и те добрее людей. Видел я пару раз, как волки мимо прошли, не тронули. Чудом я спасся, верно, Бог помог!

Целый днями я шёл. К ночи падал без сил на землю и засыпал. Так и брёл без передыхов: днём отъедался ягодами и грибами, ночью пробирался на юг. Чтобы не заблудиться в незнакомых местах, не утонуть в болотах, брёл вдоль перелесков да по проселкам. И надо же! Опять попался, язви их душу!

В эти дни случилось восстание местных крестьян. Мужики перебили отряды продразвёрстки, постреляли активистов-комитетчиков. Вот на их усмирение и стянули отряды ОГПУ. Шла большая облава по всем лесам. Кто попадался с оружием в руках — расстреливали на месте. И я на свою беду налетел на такой разъезд. Их было двое. Один верховой, другой правил телегой. Верховой стрельнул в воздух, окликнул меня и подскочил. Я сообразил, что бежать не получится: расстояние всего пятьдесят шагов — застрелит. Пропал, думаю...

Оружия у меня не было, потому сразу и не убили. Посадили в телегу и повезли. В телеге лежал какой-то избитый до крови мужичок. Я его шепотом спрашиваю: «За что схватили?»

Он мне в ответ: «Зерно прятал, чекисты нашли. Везут в тюрьму».

Вот чёрт, думаю: не вёзет так не вёзет! И слышу разговор конвоиров: «Смотри, у этого мужика-то сапоги хромовые! Наверное, комиссара убил и снял. Давай пристрелим его (это он про меня говорит!), а



сапоги сымем». «Давай, — согласился с ним другой. — Только кто стрелять будет? И кому сапоги достанутся?» Заспорили варнаки. Э-э, думаю, — влип, ещё хуже, чем в прошлый раз! Эти уже и сапоги делят. Я соседу снова шепчу: «Давай бежать. А то всё одно пропадём! Кокнут, однако!»

А мужик совсем ослабевший, еле-еле шевелится. Били, видимо, сильно. «Меня обещали посадить, а не расстрелять. Беги один», — чуть слышно ответил, бедолага.

Тут телега поравнялась с высоким и густым ивняком. Я в него прыгнул, перекатился кубарем, исцарапавшись в кровь о ветки, и с кручи сиганул в реку. Я ведь мужик сноровистый, к тому же в двадцать четвёртом годе в Красной армии служил — мене голыми руками не взять! Конный бросился за мной, стрелять начал. Пять раз выстрелил, но промазал, а пока солдат в винтовку новую обойму перезаряжал, я переплыл речушку и в кустарнике укрылся. Они за мной не погнались. Побоялись второго пленного упустить. На него-то документы сопроводительные выписаны. А я — что? Я как бы и не существовал для их начальства. Конвоирам, наверное, только сапог моих было жалко.

Короче говоря, ушёл я опять от ЧеКи, чтоб им сдохнуть! Сызнова мне удача сопутствовала. Как-то, совсем уже замерзая, наткнулся на зимовье. Отогрелся, оклемался. Высушил одежду, выпался. В избушке оказалось и крупы чуток, и муки, и сухарей. Через три дня пришёл охотник. Я обмер: неужели убьёт? Нет, хороший человек попался: мясом накормил и дорогу к «железке» показал. Так я вернулся поближе к родным краям. Родственники пачпортом недавно умершего двоюродного брата снабдили. Избежал Мариинской тюрьмы. Повезло мне, спасся! А вот Проня там побывал. Расскажи, брат, я пока



передохну. Язык устал от разговора. Выпью еще чуток.

От рассказа бати в горле Александра ком застрял, и он поперхнулся.

Дядя Проня разомкнул веки, разгладил усы и бороду, хмыкнул и задумался. По щеке медленно потекла старческая слеза.

— Санька, довелось и мне изведать, испытать муки нечеловеческие. Я ведь, кода раскулачивали деревню, своим хозяйством жил, в отруб уже лет десять как от тятки ушел. Дом, скотину, зерно описали и отобрали, как водится. У меня тогда заваялась пара чистых бумажек с печатью сельсовета. Вот я в город и подался. Год работал, дорогу строил. Пожалился мне один знакомый, что он беглый, и без бумаги ему не выжить. Я этому приятелю подписал фальшивый документ, справку. Собрались мы обмыть его удачу, только вместе с ним незнакомый мужичок пришёл. Приятель проболтался, похвастался ему, что я могу помочь с документом, если что. А назавтра меня пришли и забрали. Донес на меня шалапутный собутыльник. Следователь принялся показания выбивать: зажал руку между косяком и дверью, бац, сломал четыре пальца. Требовал подписать чистосердечное признание, что я троцкист.

А какой я троцкист? Я про него, Троцкого ентого, ране ничего и не слышал никогда! На кой ляд он мне сдался? Долго ли терпел — не знаю, не помню. Ссал кровью, рёбра сломали, почки в нутрях отшибли. Обессилел. Когда под ногти иголки загнали, не сдюжил, сломался. Поставил роспись под протоколом допроса. Думаю, пусть лучше расстреляют, чем так изгаляться надо мной будут. Троцкист так троцкист. Може, это какие хорошие люди, раз так за это бьют? Жисть не мила совсем стала. Но нет, не убили, дали пять лет. И на Беломорканал. Ох, и по перево-



зил я на тачке земельки! Проходит пять годочков, вызывают меня к начальнику лагеря: подписывай бумагу, что ознакомлен. Расписываюсь, а начальник обратную сторону листа показывает и говорит: «Подписал ты бумагу на новый срок себе, ещё десять лет получи от Советской власти». Вот спасибо! Помял я шапку в руках и отправился сызнова катать тачку и махать кайлом. Сам не курю, а когда вижу кого в руках пачку папирос «Беломор», то слёзы наворачиваются, сердце давит и кулаки сжимаются.

Вернулся я в сорок седьмом. Ни дома, ни семьи. Люди говорили, всех троих сыновей в сорок первом годе на реке Волхове убило, как и других односельчан — три раза ту Кемеровскую дивизию германцы почти всю поистребляли. Где точно полегли — не знаю. Телами сынов наших закрыли советских вождей. Какие из них солдаты были? Одна винтовка на троих, а то и на пятерых пацанов необученных. Военного в них только то, что в шинели одетые. Кроме крестьянского труда ничего не знали. Немецкие танки, думаю, застряли в трупах наших сибиряков. Эх-хе-хе... Старуха после войны сразу и померла. Надеялась, что кто-нибудь да вернется. После извещений о гибели двоих про третьего написали, что пропал без вести. Но всё же в сорок четвёртом пришла похоронка и на младшего. Мать слёзы выплакала и преставилась, сердечная. Соседи схоронили. Хорошо, брат меня приютил, а то умер бы где-нибудь под забором. «Враг народа» — без средств, без дома, без детей, без жены.

У деда Прони вновь медленно потекла горестная слеза по морщинистой щеке.

Деды тяжело вздохнули, отец разлил ещё по чуть-чуть — молча выпили.

— Ну да, слухай, сынок, далее, что было со мной, — продолжил свой рассказ отец. — Добрался до Кемерова, спрятался у родственников на чердаке — схоро-



нился. Но сидеть вечно в тёмном углу нельзя! Повезло! У них сохранились документы моего среднего умершего брата Мена — хорошо, что не выбросили его бумаги или не сожгли — по ним я и завербовался на строительство железной дороги Абакан — Тайшет. Дали кайло, лопату, тачку — трудись на благо опчества! Эх... А уж голыми руками перекидал земли, наверное, целую гору. Только не жисть это. Тоска! Тайком приехал на поселение, чтобы вывезти жену, отца и мать. Всех спасти не получилось. Семейство к тому времени пухло и мёрло от голода. Вещи продали по соседним деревням, а что в огороде вырастили, давно съели. Забрать сумел только свою бабу, старики уже и подняться не могли — их оттуда выпустили позже — помирать. Долго по Сибири скитались, да так где-то на чужбине и померли, не знаем даже, как, когда и где голову сложили, до родного дома не доехали. По правде сказать, и дома-то у нас не стало: в нем сельсовет разместился. А хозяйство наше растащила и разграбила местная гольтьба.

Ну а я ударно вкальваю на Советскую власть, магистраль строю. Проговорился однажды по пьяной лавочке, что я — это не я. Донесли! Как у нас умеют хорошо доносить! Я был на «железке», когда домой пришёл уполномоченный и начал жену допрашивать. Старуха моя смекнула, что к чему, полезла со страха в тайник, мой настоящий паспорт спрятала под подолом, а затем в печку его сунула. Милиционер заметил, да как её отшвырнет в сторону! Выхватил из печи обгоревший документ, обрадовался! Жену — в кутузку, меня после смены — туда же. Я признался в милиции, что беглый из ссылки. А документ, не какого-нибудь убитого, а брата моего родного, но умершего. Что со мной делать? Не везти же меня в ссылку — в Нарым. Увезёшь, а кто план будет выполнять? Тут ведь своих каторжных мест вполне достаточно.



Определили нас в Осинники на рудник. Повезло! Это была угольная шахта, огороженная колючей проволокой, а рядом избушки да землянки. Работал я неистово, чтобы не отправили на далекий Север, но, сколько не старайся, а всё едино: то одного, то другого увозят в лагерь. Жили в вечном страхе, что придут ночью и зарестуют. В тридцать четвёртом году убили ихнего Кирова, — и нас, лишенцев, согнали и отправили к самой шахте под охрану НКВД и отныне повелели каждый день отмечаться в комендатуре. Вырыли мы новую землянку — обосновались. Вначале родилась дочка, потом сын, третьим был ты, сынок. Если помнишь, ещё один, младшенький, родился после тебя, но умер в войну, а тот, что родился между тобой и сестрой, — Фома — умер в тридцать седьмом.

Наступил тридцать седьмой год — страшный год. Вышки поставили в углах забора, и колючая проволока в два ряда. Народ отовсюду был согнан, со всей Расеи. И назывались мы «сибулагцами» — Сибирское управление лагерей. Так до пятьдесят пятого года и отмечались. Ходили по поселенческой форме: синяя фуфайка, синяя фуражка, синие брюки. Только в пятьдесят пятом году получил впервые паспорт на основании справки «Форма № 281» о снятии со спецчёта.

А тем временем милиция и чекисты начали свирепствовать без меры — взяли нас в «ежовые рукавицы» — слыхал про такого, про товарища Ежова? Потом и его расстреляли как «врага народа»! Ну, так вот, ЧК врываются в землянки в любое время суток — могли прийти среди ночи, учинить допрос и обыск — с пристрастием. Ты уже начал снова ходить, но во время ночных проверок остудился и обезножел, ходить стал только через полгода, весной. А Фома умер от воспаления лёгких... Сколько хороших людей похватили, сослали, расстреляли, сгноили в



тюрьмах и лагерях, просто жуть...

— Да, да, знаю. Генералы, ученые, партийные руководители... по истории изучаем! — попытался вставить сын словечко.

— Не болтай ерунды! Какие на хрен генералы! То, что расстреляли этих Тухачевских, Блюхеров, Бухариных и Рыковых — так им и надо! Это была их собачья власть! Они её породили, она их и убила! Эх, скока же енти большавики по России кровушки народной пролили! Наверное, вместе слить — наберутся целые реки и моря! Нет, сынок, я говорю о простых мужиках: крестьянах, рабочих, шахтёрах! — рассердился отец. — Мильёны невинных сгинули. Выдернули их, словно сорную траву, растоптали сталинскими сапожищами. Будь он проклят, тараканищеусатый!

Ну да ладно. Слухай дале. Шахтёрил я знатно — почти стал стахановцем! Вкалывал до изнеможения — иначе не умею. Но поначалу сам корячился на этих передовиков — все на рекорды идут. Но стахановцем мог стать только вольный, а не «лишенец», как мы. Объявит какой-нибудь партейный: иду на рекорд, а нас, пять-шесть поднадзорных, ему дадут крепёж таскать, стойки ставить. Он — передовик, а мы — никто. За смену этот партеец сколько нарубит — всё на него запишут. Рекорд! Решил я сам стать ударником: сила есть, а сноровку уже приобрёл к тому времени — и дела пошли хорошо. Твоя мать стала откатчицей работать, тягала волокушу с углём из забоя по штрекам к вагонеткам, а я такелажничал, стойки рубил. Накайлишь уголька, вылезешь из шахты, помоешься — и в барак. Рабочий день — двенадцать часов, без выходных и отпусков. И никуда не выйти. Опоздал на десять минут, и после третьего гудка в шахту не пустят. Пишут — прогул! И получи пять лет. Что хотели власти, то и творили!

Однажды лаву не удержали — обрезало четыре



метра — стойки ломались, как спички, не успевали их подрубать и новые ставить. Молодому парнишке руку породой прижало. Он орёт: «Отруби её, а то совсем завалит рудой!» Я думаю: отрублю, отправят за членовредительство в лагерь. Стойку подсунули под пласт с напарником, он чуть отжал, а я Васькину ладонь выдрал из породы. Кожу ободрал, жилы чуть не лопнули, но вытянул ему руку (рука-то всё одно позже высохла). Следствие начали. Горного мастера сразу на выходе из забоя забрали. Дали прикладом в зубы — и в «воронок», объявили вредителем (вернулся он с севера лишь через семнадцать лет, уже после смерти Сталина, не человек, а тень). Но меня по тому делу не привлекли, хотя могли.

В сороковом некоторое послабление пошло: разрешил комендант мне, как примерному стахановцу, домишко построить и из барака отселиться. Размахнулся — большущую избу построил — люблю основательность. Курсы десятников закончил, стал бригадиром, выучился я на горного мастера. Одно время работал десятником на погрузке. Если вовремя вагоны не загрузишь — значит, вредитель — сразу под суд. Так-то вот! Я к тому моменту почти всю родню, что на свободе была, вольнонаёмными на шахту перетянул.

А тут «ерманец» как попёр войной! У меня «бронь» да инвалидность — на фронт не забрали: уголёк-то нужен и армии и заводам. Война проклятая наш род сильно подкосила. Тех пацанов, что на поселении выжили, подчистую загребли на фронт в сорок первом и под Москву бросили, под немецкие танки. Брат наш средний, Матвей, как услышал про войну, так вспомнил молодость: «О, я с немчурой под Аршавой (Варшавой) бился!» Благословили мы детей на ратные подвиги. Н- да, подвиги... Повыдержали со дворов пацанов, и опустели улицы. А опосля пошли похоронки. Парнишки-то необученные все,



ни стрелять, ни воевать не умеют. Сынок Сигитовых идёт в строю, а сам по дороге говны замерзшие пинает и хохочет. Вояки...

У брата Матвея два парня погибли сразу, а третий, Ефим, без ноги вернулся. Начали возвращаться инвалиды, тяжело раненные. Волобаев, сосед, пришел с фронта, в чём только жизнь теплилась? Худющий. И как жил – непонятно. Лобной кости почти не было, осколком снесло половину черепа.

Фрол, брат наш двоюродный, в окружении оказался под Киевом вместе со всем с полком. Ни патронов, ни снарядов не осталось. Командир полка объявил приказ: выбираться за Днепр, кто как может. Попал Фрол в плен. Куда его только не заносило, как бывшего шахтёра. В Польше, во Франции, в Африке у мавров горбатился, на заводе в Бельгии трудился. Рассказывал: однажды деталь плохо сделал, ему немцы говорят: «Рой могилу!». Встал фриц перед ним, стрельнул над головой, затем побил палкой и вернул к станку. Повезло – пожалели. Но куда могилу рыл – поседел. В сорок пятом его американцы освободили, отпустили домой. Наш СМЕРШ** решил, что был он предателем, раз не умер на немецкой каторге. Трибунал милостиво пятнадцать лет дал. А исполнилось тогда парню только двадцать шесть лет. Из них четыре – батрачил на фашистов в плену. После еще десять лет горбатился в лагерях на Дальнем Востоке и лишь со смертью Берии ослобонили: в двадцать один год забрали на фронт, а в тридцать пять – вышел из лагеря инвалидом. Заикался, трясся, постоянно болел, мучился, мучился, да и умер.

Посля победы вернулся из лагеря другой мой брат, Герасим. Выжил он на каторге чудом – обвиняли в заговоре против Сталина! Дали всего десять лет. А почему не добавили срок? Кто знает! Может, оттого, что старый... Брат подписал протокол после



того, как иголки под ногти загнали. Вернулся Герасим в родные края, да вскоре и помер.

Меня прям перед войной покалечило, а не то и сам загремел бы на фронт: ударил киркой по «недочёту» (невзорвавшемуся капсюлю), он и бабахнул. Сломал руку и позвонок, и глаз посекло каменной крошкой. Год лежал дома, еле оклемался. Ты по малолетству этого не помнишь. Пенсий и больничных тогда не было. Денег за болезнь не платили — выжили благодаря картошке. Только очухался — сызнава под землю загнали. А какой с меня уже забойщик! Вот тут власти и разрешили стать десятником. Выздоровел — выучился на горного мастера.

Но произвол продолжался! Дом стоял у меня на высоком пригорке — место хорошее, сухое. Корову завёл, картошки по тысяче вёдер копали, сена десятки возов косил — всё вроде справно. Детишков, вас то есть, уже двое народилось, в доме копошиться. Сердце оживает, жизнь вроде продолжается. Но возвращаюсь однажды домой, а дома — нет. Привели «НКВДшники» во двор немцев пленных, те сломали жильё, вынесли вещи во двор. Прихожу из забоя — жена и дети рядом с имуществом на снегу сидят. И так, снова сунули меня мордой в дерьмо! Начальство порешило поставить тут лесной склад, чтоб деревянные стойки в сырости не раскисали.

А у нас опять ни жилья, ни еды. Беда! В барак вернулись мыкаться. Думал, опять и ты, и сестра с голодухи заболеете да и помрёте.

Ну да опять мы выкарабкались! Прошло несколько лет после того, как наш дом разрушили, — напряглись и новую избу сладили! Не задавить им нас! Вот такая была у меня счастливая жизнь... Эх, сынок, сынок, Саня, Саня...

Отец вытер ладонью глаза.

— Ну да ладно, Санька, ты уже на лехсцию, поди, опаздывашь — беги. А мы с братом выпьем ещё



чуток: за то, чтоб горя боле не знать, не ведать!

Отец вздохнул и наказал:

— В партию, сынок, вступай, лады, но то, сколько зла она нашему роду принесла, никогда не забывай!

Александр допил чай, попрощался со стариками и отправился в институт.

Морозный воздух обжигал нос, щёки и до слёз щипал глаза. А может быть, эти слёзы текли от обиды за родителей, за своё тяжёлое детство?..

Послесловие

Батя Константин вышел на пенсию в пятьдесят девятом году по инвалидности, купил новенький автомобиль «Москвич-403» и решил наведаться в родные места. Тараданово стояло в полном запустении. Ветер гонял пыль по пустым улицам. Покосившиеся домишки наполовину росли в землю. Большинство изб стояли с заколоченными окнами. Несколько раз, застряв в непролазной грязи, он всё-таки добрался до родного дома. В нём по-прежнему размещался сельсовет. На лавочке у дверей сидел мужик в драных штанах и в засаленной ветхой рубахе. Это был бывший председатель сельсовета Фролов. Давние враги сразу узнали друг друга. Фролов посмотрел исподлобья на статного приезжего и произнес с грустью:

— Эх, Костя, вражина! Живучий чёрт! Мы тебя раскулачили, а ты опять в достатке — на машине ездешь! А я в лохмотьях хожу и пенсию копеечную получаю. И где справедливость в жизни?

* ЧОН — части особого назначения.

** СМЕРШ — военная контрразведка.



Штришки-штришочки

**Век минувший.
Шестидесятые и далее.
Кто такие Грэць и
Ашархалище?**

Да-да, я из тех самых подкидышей. Из ясельных. Другого не было дано. Папа посменно на Казахстанской магнитке варил чугун для Советской страны, мама училась на вечернем и работала. Раньше ведь не забалуешь, три года не давали по уходу за дитём. Подкидывали нас в ясли, в детский сад в круглосуточную группу, только в выходные дни домой родителям на руки отдавали. И ничего, и привыкали, и жили в мире с воспитателями и нянечками, с раскладушками и игрушками, с обязательным пианино на ночь. Хорошо было, по доброму.

С детского сада полюбилась мне пюрешечка картофельная с котлеткой и подливкой. Этак вот любил разломить котлеточку на кусочки, смешать с картошечкой, и чтобы обязательно подливочка равномерненько.

Потом такую же пюрешечку с котлеткой в школьной столо-



**СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ**

Проза





вой иногда на обед давали. Вкусно.

Затем в техникуме бывало.

Ну, в армии нет, врать не буду, разве только в Ташкентском госпитале. Было, было...

И дома иногда люблю так же: разломить вилочкой котлетку, с мягкой пюрешечкой смешать, и чтобы подливочка равномерненько. Эх!

Впрочем, не о котлетках разговор, о детстве шестидесятых.

И всё же я последователен. В своей лени. Да! Приходится бороться и преодолевать эту самую лень. А она хороша!

В самом раннем детстве, бывало, идёшь с родителями, скажем, в парк, или в гости, или домой из парка, или из гостей. Вдруг — раз — понимаешь: устал. Забегаешь впереди папы, останавливаешься и безапелляционно заявляешь:

— Ножки вава!

На руках у папы тепло, «беломором» пахнет, уютно, равномерно покачивает. Ни разу не запомнил, как до дома добирались. Просыпался уже утром в своей постели.

Где мои три года? Сейчас бы забежать вперёд, произнести ту фразу, и... Ладно, будильник сработал, пора вставать, хоть и «ножки вава»...

Грозы никогда не боялся. Даже в самом раннем детстве. Мама боялась. Ещё как. Но тут, как ни крути, она — девочка.

Как только блымснет молния, а за ней гу-у-ул и ба-а-а-бах треснувший, так мама бояться начинала. Я ей помогал матрас под кровать стягивать. У кровати ножки высокие, металлические. Залезаем в эту уютную пещеру, мама ещё одеялом завесит, чтобы



вспышек не видеть.

Как маму поддержать, чтобы успокоить?! А давай песню споём! Героическую.

Шёл отряд по берегу, шёл издалека,
Шёл под красным знаменем командир полка.
Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве...

Вот это всё надо было петь грустно, сквозь грохот и сверкания боя, то есть грозы. А потом задумчиво тянуть: «Э-э-э, по сырой траве...»

Песня очень хорошая. Красивая. И моменту соответствовала как нельзя лучше.

Потом гроза уходила, а мы с мамой уже спали. Папа приходил со второй смены после полуночи. Сразу заглядывал под кровать, вытаскивал нас, целовал и укладывал спать. От него пахло «беломором» и горячим металлом, который он варил на заводе.

Папа не удивлялся, что мы переживаем непогоду в таком уютном месте. Это он в первый раз напугался нашей с мамой пропаже. Но я тогда ещё совсем малолетка был. Так, с полгодика. Не очень помню, как папа нас разыскал в первый раз.

Как-то раз поехали с папой в гости к родственникам. Отпуск был у папы зимой. Я ещё вольная птица, в школу только осенью. А надо сказать, что из нашего Темиртау до Магадана путь неблизкий, поездом несколько суток добирались. Но в поезде весело было: то песни поют, то на гармони играют, то немые разные картинки продают, то на станциях цыганята пляшут, да много чего. К ночи утихомиривается вагон. Все уже напильсь, кто чаю, кто водки. Лежат на полках, слушают чей-то рассказ. Колёса стучат,



вагон качается, тусклый свет сквозь матовые плафоны. Так бы ехал и ехал. Но приехали.

Колыма большая. Магадан тоже. Но нам ещё дальше, в посёлок Б. Туда «...только самолётом можно долететь...»

Сели в самолёт. АН-2 называется. Сидим на алюминиевых лавках вдоль борта. Пора бы уж взлетать, но ждём ещё, хоть винт уже давно вращается. Тут открывается дверь, в салон влезает маленький такой человечек в кухлянке и в торбазах, за ним втискиваются четыре оленя. Олени настоящие. Тоже маленькие, плюшевые такие. Но с рогами. Замыкает команду опаздывающих ещё один в кухлянке и торбазах, перед собой толкает нарты.

Так и полетели. Я всё смотрел на оленей, а они на меня, пока не наколдовали сон.

Проснулся уже в посёлке Б. В аэропорту. Ну как в аэропорту... Среди снегов, снежиц и начинающейся метели виден дощатый сарай с табличкой Б.

Люди в кухлянках и торбазах оленей впрягли в нарты, на вопрос папы, а где, собственно, сам посёлок, махнули меховыми рукавицами куда-то в сугробы и совсем было собрались умчаться в крупные вечерние хлопья снега, но предложили подвезти. За 10 копеек.

Я с чемоданами ехал в нартах, а папа вместе с аборигенами бежал всю дорогу.

Я ещё потом удивлялся: надо же, у меня нос чуть не отвалился от мороза, а папа, когда с родственниками обнимался, всё пот утирал с лица.

Жаркий край Колыма!

— Хай тоби грэць! — именно так, с большим мягким знаком, именно на это дедушка делал ударение. Ругался. Но не громко. Для порядка. Если, скажем, в темноте в сарае не мог нащупать уздечку на стене или на припечке кисет с махоркой.



А я наслаждался чутким предутренним сном, слушал сонное муканье Июньки, лениво бредущей в стадо, и, вновь засыпая, размышлял: кто ж такой этот самый Грэць, и в чем он виноват перед моим добрейшим дедом Иваном?!

Если дедушка ругался даже самыми страшными словами, все равно ругаемый понимал: можно проигнорировать. Поэтому корова Июнька, жеребец Мотька и прочая живность (люди в том числе) согласно кивали головами и продолжали свою жизнедеятельность: ломали плетень, обтирали боками угол хаты-мазанки, таскали яблоки из сада. Да мало ли...

А вот если бабуля хваталась за хворостину и негромко вскрикивала:

— Тоби шо, повылазыло?!

Тут уж вопросов не возникало, где, у кого и что именно «повылазыло». Июнька отрывала бок от хаты и браво шагала через калитку в стадо. Мерин застывал у телеги в ожидании деда. Куры деловито клевали что-то с земли, мгновенно забыв о пшенице, просыпавшейся из худого мешка. Кот Мурзик замирал у порога сарая с заманчивой щелью между косяком и дверью. А там же не только сметана, колбаска, там же... Но замирал.

Кажется, даже дед замирал, раскуривая самокрутку (так и не привык к сигаретам и папиросам).

Через мгновение земля продолжала вращаться.

Дедушка на фронте был ранен очень серьёзно. Осколок рубанул по спине, пробил правое лёгкое, изуродовал руку. Шрам страшный.

Полевая хирургия. Заштопали. Выжил. Уже хорошо. Рука плохо слушалась. Слабо держала.



Мне интересно. В бане спрашиваю:

— Деда, а что это у тебя на спине?

— Та, царапина, внучок, за яблоками полез да сорвался. Ты бы сам не ходил в сад. Вместе пойдём...

Указательный палец не гнётся. Не помогает палец деду, только мешает, видимо. Привык дед, но всё равно нет-нет да чертыхнется грустно:

— Анахтэма, зараза!

С досадой переложит топор в левую руку и аккуратно строгаёт кол, стараясь не задеть слабую правую кисть.

Про неведомую Анахтэму я, увы, тоже не узнал, что за живность такая.

Чай. Дома всегда его пили. И утром, и вечером. Но так, дежурно, вроде как надо, и всё!

У бабушки наоборот, постоянно чувствовалась важность чайного ритуала. Кажется, самовар в центре стола, покрытого цветастой клеенкой, кипел всегда. В любую минуту можно было налить кипятком и охладиться от летнего зноя.

Дедушка проще относился к чаю. В сарае на крюке висел старый, ещё фронтовой, сидор. В нём хранился плиточный чай. Чёрный и зелёный. Днём дедушка пил исключительно зелёный. Вечером и утром — чёрный. Наломает от плитки сколько нужно, бросит в чайник, зальёт кипятком и дымит самокруткой, ждёт, когда чай поспеет.

У бабушки всё иначе: пачки чая хранились в специальном холщовом мешке. Там индийский со слонами и краснодарский чёрный байховый. Дедушка наливал себе полную полулитровую кружку, щипцами колол кусковой сахар, макал его в чай, забрасывал в рот и, обжигаясь, тянул из кружки напиток. Бабушка же аккуратно наливала заварку, затем из самоварного носика тонкой струйкой



цедила кипяток, потом добавляла сливки или молоко. Чай наливался в блюдце. И никакого сахара! Конфеты. Подушечки. В кофейной пудре.

Я никак не мог определиться, какой чай мне больше нравится. С удовольствием швыркал с дедушкой из металлической кружки и зелёный, и чёрный, да с колотым сахаром. Красота! Днём же, пока дедушка на работе, с не меньшим удовольствием тянул чай из блюдца. Кофейные подушечки были прелестны!

Детей в семье к концу войны было десять. Дедушка на побывке после второго ранения оказался молодцом. Самая младшая моя тётя в 45-м победном родилась.

Аксай Уральский не был оккупирован. В Казахстан шли эшелоны пленных фашистов. Кто-то из братьев мамы подобрал на железнодорожной насыпи немецкую каску. Долго она служила в хозяйстве. По прямому назначению.

Насадил её на длинный черенок.

Это сейчас вызвал ассенизаторов, приехала машина, шланг опустили в выгребную яму — дел на полчаса. А раньше! Будку дощатую в сторону, и ну черпать. Телегой вывозили. Прошу прощения, конечно, за реализм.

Каска была что надо, ёмкая, в самый раз.

В те годы у бабушки ещё не было телевизора. Телевизоры мало у кого были. Помнится, у нас появился в доме уже с хорошим экраном, не как у того, что через линзу смотреть надо было. Вечерами соседи как в театр приходили, рассаживались на стульях и табуретах и смотрели постановки. Впрочем, не о том речь. У бабушки был хороший радиоприемник, с несколькими волнами, с зелёным



огоньком.

Летом все съезжались к бабушке. Сыновья с жёнами, дочери с мужьями, ну и нас, детей, целая орава.

По определённым дням в затемнённой комнате собирались мужики и пацаны, рассаживались полукругом у радио, пялились на зелёный огонёк и слушали футбольный репортаж. Это было просто сказочно! Далёкие футболисты дирижировали нашим собранием. Что-то прокричит сквозь помехи комментатор, и все уже на ногах, прыгают, орут, обнимаются. А то вдруг сидят, нахмурятся, угрюмо почесывают щетину на щеках. И так полтора часа кряду. Только в перерыве выйдут на улицу, быстро перекурят, водички попьют и снова к приёмнику.

Мало что понимал тогда, но всегда был рядом с мужчинами. Это было великолепное чувство единения. Мощное.

Думаю, что гибкая пластиночка с песнями Майи Кристалинской появилась у нас дома, когда я был вполне повзрослевшим парнем, в 68-м году закончил первый класс.

Заглавная песня пластинки «Лунный камень» была встречена широкой общественностью очень хорошо. На концерте, который проходил и у нас в городе весной этого же года, металлурги аплодировали долго и настойчиво, заставив певицу исполнить шлягер минимум три раза.

Ну а что?! Загадочные слова, космический глубокий голос, музыка, опять же, волшебная. Да супер просто! А тут в универмаге «выбросили» пластинку! Конечно же, не только мой папа, но и многие другие хватанули флекси. Почему нет?!

Поскольку на дворе стоял май, в раскрытые окна многоэтажек влетал тёплый душистый ветер, звон-



кие хлопки по волейбольному мячу (почему-то тогда молодёжь резалась именно в волейбол), а из окон, из многочисленных динамиков, выставленных на подоконниках, во дворы рвались слова песни:

Отыщи мне лунный камень,
Сто преград преодолей,
За морями, за веками,
В древних кладах королей...

Мы, пацаны, кушали кислую вишню: целую корзину мой папа привёз из командировки откуда-то то ли из Ташкента, то ли ещё из какого-то южного азиатского города. Так вот, плевали косточки, старались попасть в пустую банку из-под горошка «Глобус» и незаметно для себя повторяли слова песни: «Отыщи мне лунный камень, талисман моей любви, под землей, за облаками, в небесах, в любой дали...»

Летом, как обычно, родители увезли меня к бабушке. Там вообще красота была: жара, метровая мягчайшая пыль на дороге, глубокий овраг с зарослями клёна, смородинник за железной дорогой, рыбалка из ставка (но это подальше) и прочие прелести для городского пацана.

В то лето у бабушки во дворе отремонтировали колодец. Старый венец из брёвен почти распался, его поменяли на современные бетонные кольца, заодно и сам колодец углубили. Вроде как ерунда, скажете вы!

— Э, нет! — отвечу я.

Это на несколько дней увлекло. Как-то утром склонился над новым колодцем:

— Эй!

А оттуда гулко так, с эхом:

— Э-э-эй!

Ох! Потрясающе!

Чего-то ещё поорал туда. Колодец в ответ — на



меня. Потом задумался: чего это я как ненормальный ору в колодец? Несolidно же, не первоклассник. Подумал-подумал — и загадочным голосом, с растяжечкой, протянул в далёкую воду:

—А-а-а-тыщи мне лунный ка-а-а-ме-е-ень...

Вот это да! Вот это звук! Аж мурашки по спине.

—Та-а-алисман моей любви-и-и...

А вы говорите, акустика-акустика. Вот какая она должна быть!

Ну и так пару дней утром, в обед и вечером про талисман моей любви орал в колодец.

Бабушке-то что, ну орёт внучок в колодец, зато ж во дворе, перед глазами, искать не надо, лишь бы вниз не сиганул. Я что, безмозглый, нырять туда? Это если бы чего уронил, тогда — да.

За забором, в соседнем доме, жила девчонка Танька. Вроде как дружили мы. Она несколько раз приходила, слушала, просила самой поорать в колодец. Но слабенький голос у нее, ерундово получалось, я и сказал ей, что пока не тянет, пусть в своём колодце потренируется. А колодец у них старый был, как у бабушки до замены.

Танька чего-то обиделась, ушла репетировать. И ведь назло мне (главное дело, мелкая такая, а уже типа женщина гордая!) даже другую песню стала орать в колодец. «Нежность» называется. Помните, из кинофильма «Три тополя на Плющихе»?

И вот, значит, я ору про талисман моей любви в бетонный колодец. Красиво так ору, с душой. А Танька, дура, пищит в свой деревянный: «Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в садах и куда-то всё спешат такси...»

Думаю, наш первый совместный концерт удался, поскользку дед Таньки, глуховатый, в тулупе на плечах и валенках в самую жару вышел на улицу, обматерил (даже меня переорал, во даёт дед!) и вежливо попросил заткнуться. Обоих!



Никакой культуры у деда, а ведь ещё в империалистическую воевал, два креста на груди было под кожухом.

Даже не спорьте! Не тот нынче помидор пошёл. Ой, не тот! Бывало, раньше у бабушки в огород заскочишь, в бурьянах углядишь крутой красный бок, раздвинешь кусты, двумя руками ухватишь помидорище, скрутишь с плодоножки и к старой яблоне — шасть!

Там полочка деревянная прикручена проволокой, на ней солонка с крупной солью.

По пути луковицу с грядки вышибешь, обломком острого ножа вжик-вжик, шелуху в сторону.

А помидор ножом ни-ни, его только ломать надо. На изломе сахарится плоть, спелостью закипает.

В соль и лук и помидор солью сверху. Хрустишь лучком, в помидор по самые уши вгрызаешься.

Если ещё бабушка вечером хлеб пекла... ооооо... С краюхой ноздреватого хлебушка всё это умять — до вечера сыт будешь!

Только ведь у бабушки не отвертишься: завтрак, обед и ужин по распорядку.

А помидор нынче не тот пошёл, ой, не тот!

Скажите, что означает слово «ашархалище»? Ни Яндекс, ни Гугл, ни различные словари не дают ответа на этот, смело говорю, животрепещущий вопрос. Не дают и точка!

Именно так, «ашархалищами», с гневной эмоциональной окраской, называла нас, пацанов, соседка бабули, когда мы, то, подражая Михаилу Квакину, умыкали вишни, яблоки, сливы из её сада, то, мгновенно становясь «тимуровцами», таскали воду вёдрами в её же бездонный бак в том же огороде, где

только что были «квакинцами».

Хотя, положила руку куда угодно, беготня с ведрами от колодца к баку больше вреда наносила. «Ашархалища» одним словом! Не иначе.

Бабушкина соседка примерно такого же возраста прямо за задами огорода жила. Звали её Гайно. Причём, надо отметить, звук «гэ» был шикарно фрикативным, а ударение делалось на последний слог.

Впрочем, бабушкину соседку я никак не называл, просто говорил вежливое «здрасьти», «до свиданья». Малознакомые мы. Это к знакомым с нашего двора в городе я мог обратиться: «Дора Степановна», там, или, к примеру, «дядя Гена». Тут посёлок, могут не так понять. И так первые дни каникул выделялся: новые шорты, сандалии с крепким запахом кожи, рубашка с кармашком на груди. Чуть погода уже не отличить было от местных пацанов. Всегда и всюду босиком, в одних трусах. Красота!

И всё же задумывался, какое интересное имя Гайно! Всё хотел спросить у бабушки, да забывал. Сам выяснил.

Бабушкина соседка была сварливой старушкой, ругала всё и всех, могла и тростью огреть. И не только телёнка или корову какую, но и пробегавших мимо мальчишек. И всегда кричала: «Вот Гайно какое!».

Я ещё думал, чего это она себя приплетает кругом?! Стал прислушиваться. Ого, и куры, и собака, и помидоры, и погода, и люди, и передачи по радио «Маяк» – всё вокруг Гайно.

Вообще-то бабусю звали Антонина Феокистовна, только для всех она была либо тётка Гайно, либо бабка Гайно.



О, какой это был крик! Ор, вопль, рык. Американский киношный Тарзанишко от зависти с пальмы бы свалился. Если бы услышал.

Мне пять лет. Едем с родителями в купейном вагоне. Долго едем. Третьи сутки. Я уже освоился со всеми техническими чудесами. Настучался откидной сеточкой, нащелкался ремешком-зажимом, придавил пальцы откидным столом, погонял папу с верхней полки. Много чего успел. Освоил и туалет. Вернее, дверь в него. Там такая хитрая ручка. Крутишь её, а в вырезе надпись появляется, то «Занято», то «Свободно». Шикарная вещь!

Днём-то как мёдом намазано. Не подступиться к замку. Пассажирам прям не терпится. Лишь бы замочек покрутить.

Однако, повезло мне. Проснулся ночью. Тишина. Вагон покачивается. Где-то кто-то храпит. За окном темень тёмная. В коридоре тусклые лампы в плафонах.

— Ого, — думаю, — чего-то мне в туалет надо! Чаю напился вечером. Аж два стакана!

Дома я немного чаю на ночь пью. Но здесь повзрослому всё. Тут проводник в белой куртке со всем уважением. На стол бац стаканы с кипятком в подстаканниках, брусочки сахара в упаковочке аккуратно положит. И пей себе чаёк, наслаждайся. Можно было бы и три стакана, но мама не разрешила, мол, авария может произойти.

Интересно, какая-то авария? Если имелась в виду та самая авария, так это давным-давно было, года два назад. И больше никаких аварий. Никогда. Хотя, может, и было. Не помню. Неважно. Ладно. Кто старое помянет...

Встал с полки, сунул ноги в тапочки, потихоньку отодвинул дверь, пошёл к тамбуру. Покрутил ручку. Никто не мешает. Зашёл в туалет, крутнул на «Занято». Стою, делаю дело. Слышу за окном мятый



женский голос:

— Поезд мрмрмр... брбрбр... на первый путь. Время стоянки мрмрмр... брбрбр... пять минут...

Я ещё успел заметить надпись на здании вокзала: «Оренбург», когда за спиной что-то металлически лязгнуло.

Кинулся к двери, кручу ручку. Окошко охотно показывает, что можно выходить, а дверь не открывается!

И тут я заорал. Басом. Долго. У Тарзана точно бы авария случилась. Ей богу!

Первыми на помощь примчались мама с папой, затем пассажиры. Все без исключения. Только когда поезд дёрнулся, появился проводник с огромным железным ключом. Щёлкнул замок. Дверь открылась. Свобода.

Весь оставшийся путь пассажиры меня каким-то Левитаном называли. Дядька-проводник показал, что надо было крутить на двери, чтобы выйти. Я запомнил. И всё же на всякий случай вечером выпил один стакан чая. Ну его.

Знаете, что такое страх? Нет. Даже не страх, а ужас?! Не-е-е-т, вы не знаете, что такое страх и ужас! И не надо знать! А я знаю. Причём в неполные восемь лет познал!

С дедушкой едем на телеге сквозь заброшенный, заросший сад. Август. Деревья ломаются от яблок и груш, ветки аж трещат, свисают к земле.

Дедушка везёт воду в огромной бочке в поле, где идет уборка. Народ поить надо. Мне интересно, я же городской. Вот и езжу с дедушкой, надоедаю распросами.

Дедушка не сердится, отвечает неторопливо. Сворачивает сигарку из газеты, ругаясь под нос, когда махорка просыпается мимо. Телегу потряхива-



ет на колдобинах. Погоняет старую лошадь Ласточку.

Ласточка прекрасна в своей лени. Она спит на ходу. Стоит только дедушке отложить кнут, как Ласточка замедляет ход, роняет несколько пахучих яблок из-под хвоста и замирает. Спит.

Дедушка наконец-то раскуривает закрутку, замахивается кнутом, но Ласточка уже страгивает телегу с места, и мы снова крадёмся к далёкому полю.

Я слушаю ответы дедушки на свои важные вопросы, сам стреляю глазами по деревьям. О, вот яблоко огромное, красное до черноты! Срываю. Ого, какой мелкий ранет! Пригодится. А это что такое?! Просто какое-то чудо природы!

На ветке прямо надо мной висит Царь-груша. Большущая, аж светится от зрелости, вот-вот лопнет, брызнет соком. Не допущу!

Встаю на бочку с водой, дотягиваюсь пальцами, ощущаю теплую сочность. Поднимаюсь на цыпочки. Есть. Груша у меня. Решаю насладиться прямо сейчас. Подношу грушу ко рту... Мама дорогая! Плод лопается, и из него вываливается куча ос.

Как я оказался в бочке с водой, не помню. Дедушка всё расхваливал мою сообразительность, когда оправдывался перед родителями, что не углядел за внуком.

А я ночью вспомнил, что в книжке читал, как пацаны от ос в речке прятались!

Недоумение и обида. Знакомые чувства, не правда ли? А ещё обиднее, если сам виноват. И ведь не на ком зло сорвать. Ей-богу, не отвесишь же сам себе пенделя или хоть подзатыльник!

У бабушки перед домом росла огромная шпанка. Вишня ранняя. Старое дерево, мощное. Ягоды на ней каждый год было прорва. Крупные такие вишни, сочные, сладкие. Ясное дело, чем выше, тем чернее,



тем ядрёнее.

Залез высоко, потянул с собой цибарку — ведро ручной работы из оцинковки. Оно хитро было сделано. Широкое дно и узкая горловина. Как нормальное ведро, но перевернутое. Удобно с ним по деревьям лазить, меньше за ветки цепляется. Пока родители отдыхают, наслаждаются жизнью, я столько шпанки соберу, что хоть компот вари, хоть так от пуза трескай!

Сижу на огромной толстой развилке, ведро на сучке висит, уже почти полное. Глазами шарю, поспелее вишню ищу. Ага, есть, вон, на самом конце ветки чернющие ягоды. Как раз несколько пригоршней, и можно будет папу звать, чтобы ведро снимал. Тяжёлое! Не осилю. Хоть и взрослый уже, чай, первый класс за плечами. Но надо быть честным, слабоват еще. Да и вишню жалко, если рассыплется.

Осторожно попробовал ногой ветку. Крепкая! Пошёл по ней. Держусь за верхнюю. Нормально. Потянулся ладонью. Нет. Ещё чуть-чуть. Ну-ка, пальцами ухватил ягоду...

Наверное, всё дело в той огромной вишенке было. Тяжёлой оказалась. Не выдержала ветка.

Лежу невесёлый под деревом, прикрытый листвой обломанной ветки. Рядом ягоды мятые валяются. Цибарка с глухим звоном по кругу лениво катается. Пустая. В руке та самая виноватая ягода. Весь в царапинах и ушибах размышляю: зареветь, что ли? Но передумал. Несолидно! Тем более, что, вон, папа несется, мама за ним.

Сунул в рот вишню. Сла-а-адкая!..

С самого-пресамого раннего возраста к кашам разного рода относился отрицательно. Мама так и говорит, мол: я тебе из бутылочки через соску манку жиденькую, а ты губами так, ф-р-р-р. Все и всё вокруг в каше, а в тебе — ни граммусечки.



Да. Ни овсяная, ни манная, ни ячневая, ни, не дай бог, «кирза»-«дробь-шестнадцать»-перловка фактически никогда не оказывалась в моём желудке. Пыталась, правда, перловка. Голодновато как-то было осенью 80-го в Кандагаре. Но нет! Терпел. Пока в голодный обморок не брякнулся. Но к этому времени картофель подвезли.

Другое дело гречка! Лишь бы без молока. Можно с маслом. Можно вместо хлебushка с борщом. Попробуйте, шикарно! А если к гречке ещё и поджарочку мясную! Уууууу... Изыск!

Гречневая каша с говядиной в консерве – замечательная вещь!

На сковородочку да на огонь. И чтобы поджарилась. Это же ого-го!

Впрочем, есть и другие способы. Например, в костерок. Тогда вообще неподражаемо получается. Содержимое банки равномерно прогревается и поджаривается на стеночках. Ммммм... Есть, конечно, некоторые минусы. Если в крышке не пробить пару дырок. Прецеденты были. Неприятные. Разрывало баночки.

С дырочками безопаснее, но теряется равномерность доведения каши до нужного состояния. Но всё равно объедение.

И всё же был один человек, который смог накормить меня манной кашей. На молоке. Понятно, что это женщина. Хитрая.

В соседнем доме жила. Иногда родители отводили меня к ней, если нештатная ситуация случалась — в выходной работали или карантин в садике объявляли.

Тётя Домна. Так звали эту коварную женщину.

В первый раз мама объяснила ей, что кашу мне давать бесполезно, лучше что-то мясное. Тётя Домна согласно кивала, всё, мол, будет в порядке.



В шестидесятые годы была мода на космос. Гагарин, Титов, Белка и Стрелка.

У тёти Домны оказались тюбики с космической едой. Да! Сгущёнка из тюбика. Каково? То-то же.

По счастливой случайности на следующий день у тёти Домны появилась космическая манная каша. На молоке. Из тюбика с той же надписью «Сгущённое молоко». Разве откажешься, если героикосмонавты такую же в космическом корабле на завтрак трескают?! А надпись на тюбике секретная, чтобы никто и ни за что не догадался, что внутри. И я ел кашу. Даже вкусно казалось.

Раскусил я хитрость тёти Домны. Зашёл на кухню, когда она в тюбик из-под сгущёнки наливала горячую жидкую манку и, обжигаясь, загибала задний край трубочки.

От каши я тогда отказался. Аргументировал тем, что передумал быть покорителем космоса. Пойду в моряки. Там макарены по-флотски. С мясом.

Больше кашу я не ел. Никогда.

Детский сад. Подготовка к 8 марта. Делаем подарки мамам. На картон наклеивается лист плотной розовой бумаги. Из зелёной вырезается стебель и пара листьев, слегка похожих на тюльпаны. Из красной бархатной бумаги получается страшно зубастая коробочка цветка. Затем все части вклеиваются на розовое поле. Несколько кривовато, но с душой.

Завершающий этап — подпись цветными карандашами, чтобы было ясно, для кого аппликация. Мало ли, вдруг папе понравится!. Итак: «МАМЕ!». Только почему-то буква Е получилась в другую сторону.

Но маме понравился подарок, иначе зачем она хранит ту картонку до сих пор?



Вы бывали когда-нибудь во дворце? Не в музее, а в настоящем? Чтобы слуги были, царь. Причём царь всамделишный. С бородой, в короне, с посохом. И народ вокруг стоит, кланяется. Царь что-то как заговорит, да таким басом мощным. Ничего не понятно, но внушительно. Народ согласно кивает. Поди не согласишься с царём-то. Вон у него сколько прислуги нарядной. Парни мощные, хоть и сутулятся.

Вообще весело во дворце. Хор поёт на иностранно-знакомом языке, гости ходят, картины разглядывают и кланяются. Я тоже пару раз поклонился, но толстая старуха зашипела, мол, туда смотри, тычет пальцем в какую-то темную картину, на ней лицо мужичка грустного, с колючей проволокой на голове. Я и картине поклонился. Жалко, что ли. До этого я коту кланялся, он под лавкой спал. Красивый такой, полосатый.

Потом родители меня за руки взяли, я думал, вот, самое интересное будет, царский хоровод. Ага! Царь водой из тазика кистью как маханул. Я аж присел от неожиданности. Во даёт царь! Ничего себе. А он ещё и ещё!

Думаю, а если бы я вот так сейчас водой по царю, по слугам, по гостям? Но я ж приличный пацан, довольно взрослый, через год в школу. Потерплю. Ладно. Тем более что царь что-то зашептал, наклонился ко мне и на шею сувенир на веревочке повесил. Все вокруг как загомонят, как закланяются. Я тоже поклонился. Не жалко, шея не переломится! Тем более полосатый кот мимо царя прошёл.

На следующий день в садике рассказал, где был, что видел. Парням и девчонкам понравилось, но с небольшим недоверием как-то. Откуда у нас в городе дворец. Объяснил им, что не у нас, а в областном. Туда родители специально поехали. Подальше. Чтобы комсомол какой-то не узнал. В доказа-



тельство показал сувенир на веревочке. Пластмассовый жёлто-коричневый крестик.

Я его потом в Афганистане потерял. Через 15 лет. От замполита прятал. Обронил.

В тот Новый год Дед Мороз расщедрился...

Я, конечно, понимал, что без подарка волшебный старичок меня не оставит, поскольку не знал за собой особо крупных неприятных моментов. Можно было упрекнуть, что кашу в минувшем году не ел. Вообще. Так я её никакую и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом, и вообще практически никогда не употреблял. Если только гречневую. С мясом. И подливкой.

Были мелкие грешки, не скрою. Футбольным мячом окно соседке разбил. Так не специально же. Нога подвернулась в ответственный момент.

Пару раз родителей не слушался. У кого такого не случилось?

Двоек, кстати, из школы тоже не приносил. Рано. Даже в первый класс ещё не пошёл.

Что ещё? Да и ничего фактически. Рутинка.

Зато был у меня аргумент, перечёркивающий какие-то небольшие минусы в биографии. Я ел варёный лук! Да. Родители специально в бульоне для супа или борща отваривали несколько штук. Я съедал. С нескрываемым удовольствием. Мягко, сочно, вкусно. И даже не понимал тщательно скрываемых искорок ужаса в глазах мамы и папы.

Выходит, перед Дедом Морозом я чист. Не без пятнышек, конечно, но всё же. Вот Дедушка и расстался.

Кроме хрустящего прозрачного мешка, раскрашенного серебристыми снежинками и цветным серпантинном, с конфетами, орехами и мандаринками, под ёлкой оказалась коробка. Большущая.



Сердце забилось, забухало, затрепетало в груди. Трясующимися руками я срывал красочную бумагу с коробки. Торопился. Моя догадка оказалась верной. В коробку Дед Мороз положил Гэдээровскую Железную Дорогу.

Мечта. Фантастика. Грандиозный подарок.

Понимающие люди знают, что это такое – Гэдээровская Железная Дорога! Это рельсы вместе со шпалами, их можно сложить в любой путь. Хоть прямой с тупиком, хоть по кругу запустить, да хоть восьмёркой закольцевать. Возле пути поставить аккуратненькое здание вокзала с красной черепицей. Избушку стрелочника поместить под деревья. Расставить железнодорожных служащих по постам. И, самое главное, пустить по магистрали локомотив, пристегнув к нему пассажирские или грузовые вагоны.

Можно было часами наблюдать за катанием поезда, пока квадратная батарейка не сядет. Переводить стрелки, загружать кубиками товарняк, давать сигналы пассажирскому составу.

Однажды я решил приблизить игру к реальности.

Мы с родителями довольно часто путешествовали. Поездами. И зимой, и летом. Я наблюдал из окна, как рабочие постукивали молотками по железякам под вагонами, дежурные давали отмашку жёлтыми флажками, а где-то среди заснеженных степей, на переезде, увидел маленький домик и мужичка в белом тулупе – начальника той самой избушки. Здорово! Огромная степь. Снега по пояс. Безлюдье. И он – смелый железнодорожник в тулупе и форменной фуражке.

У папы имелся такой же белый тулуп. Я снял его с вешалки. Тяжёлый. Но что делать? Служба железнодорожная такая – суровая и сложная. Напялил на себя тулуп и пошёл нести вахту у маленького домика Гэдээровской Железной Дороги. Недолго длилась служба. Я запутался в полах тулупа и уселся прямо на



весело мчащийся поезд. Беда!

Расстроился я ужасно! Передарил Гэдээровскую Железную Дорогу младшему брату. Ему как раз год стукнул. Пусть играет на здоровье.

Лук варёный разлюбил ближе к следующему Новому Году. Больше никогда его не ел. Однако не разочаровал Деда Мороза, что-то этакое здоровское он мне снова подарил.

Как вы раньше, в детстве, относились к борщу? Только честно!

Я лет до пяти вообще презирал его, всё больше супчики уважал, а потом в одночасье вдруг влюбился в борщ. Да! Пожизненно.

И ведь произошло-то как глупо и непритязательно. Точно так же, как первая влюблённость — увидел и запал, утонул в девчачьих глазищах или в другом, что заставляет втрескиваться по уши в них, в девчат.

Так и с борщом получилось. Заметил, что перед окончанием приготовления родители в кастрюлю укроп прямо с зонтиком клали. Расспросил по-серьёзному, зачем, почему. Внимательно выслушал, согласно покивал и запомнил.

Потом как-то из детсада шёл домой (я ужасно самостоятельным был, сам ходил туда-сюда, садик через забор от родного дома), смотрю — а на клумбе укроп с огромным зонтиком растёт. Тут уж во мне охотничьи, добытческие инстинкты заговорили, хватя укропину за шкирку — и домой приволок.

Дома все такие — ого-го, хозяин растёт. Я сам-то млею от удовольствия, как-никак прибыток в семье, сжимая гордость в голосе, говорю: завтра, мол, борщ будете варить, так не премините уж...

Так и сделали родители, за что им глубокая благодарность. Ну а мне что оставалось-то? Правильно, только влюбиться в борщ!



Правда, были потом небольшие сложности в отношениях с ним, но это совсем другая история.

И по сей день, когда нет зелени для борща, окунаю в кастрюлю зонтики укропа.

Впрочем, тогда у детсада не совсем укроп я сорвал, вернее, не укроп совсем, но родители ловко подменили ненужное на нужное, за что им опять-таки поклон до земли!

В те давние годы, когда родители были молоды, они, как водится, имели много друзей и знакомых, к которым то родители хаживали по праздничным или выходным дням, то совсем наоборот, к нам приходили эти люди. Весело, шумно, душевно, с песнями, с танцами.

Больше всего мне нравилось ходить в гости к тётё Томе и дяде Косте. Тётя Тома мне не очень была, честно говоря, по душе, поскольку её сюсюканье, навроде «ой, кто к нам пришёл, ой, как на девочку похож...» Кому это понравится? К тому же совершенно взрослому парню-пятилетке, хоть и в дурацком берете на голове и клетчатом синем костюме. Но тут выбор родителей, они как-то со вкусом моим не сообразовывались. Да и ладно!

Здесь был главным дядя Костя! Фронтовик. У него наград было мно-о-о-го. Кругляши медалей тяжело позвякивали на кителе, ордена тускло сияли. Но это только 9 мая. В остальные дни на пиджаке у него только потёртые планки пришпилены были, прямо на нагрудном кармане.

Кроме этого дядя Костя играл на гитаре-семиструнке и на балалайке. Гитару я в деле видывал. И не раз. А вот балалайка меня поразила. Вернее, дядя Костя поразил, а ещё точнее — его пальцы. Как они летали по струнам: туда-сюда, туда-сюда, безалаберно, вразброс, шутливо. И получалась музыка! Хоть «Светит месяц», хоть «Чёрный кот»,

хоть «Последняя электричка». Даже любимую песню папы «Хотят ли русские войны» запросто дядя Костя играл.

Дядя Костя показал, как надо извлекать звуки из балалайки. Я попробовал. Разбил в кровь пальцы на правой руке, натёр мозоли на левой. Не понравилось играть. Слушать, наоборот, понравилось.

Конечно, все родители стремятся нарядить свое чадо, чтобы было самым-самым. И, безусловно, все родители сообразуются со своим чувством прекрасного. Да!

Ладно ещё, когда детёныш не соображает, ему до лампочки, в каких он штанах, штиблетах, рубашке. Косолапит в смешных сандаликах, лепечет, пачкает цветную курточку зеленью растений, в конце концов, прудит в весёленькие штанишки (это сейчас памперсы, а раньше-то...).

Потом ребёнок подрастает, сам уже соображает, что ему нравится, что нет. Но тут же родители со своим чувством прекрасного. Мда...

У меня в детстве был чёрный берет. С таким хвостиком на самой макушке. Как же я его ненави-дел! Но носил. Куда деваться. Правда, только в присутствии родителей таскал на голове. Когда гулял во дворе, сразу прятал в карман. А при родите-лях как? Они ж любят меня в берете! Или берете-том на мне! Мне же виделся Мурзилка из одноимен-ного журнала. Он как раз в подобном берете всегда изображался. Беда.

Как-то проводили маму из аэропорта. Возвраща-емся с папой домой. Автобус через весеннюю степь несётся, мне на месте не сидится. В окна — красотень зеленеющая, запахи. Встал на сиденье, смотрю. Вдруг мыслишка закралась. Ага. Попробую!

Высунул голову в окно. Мощный такой ветерок, но, увы, сил у него не хватает берет сорвать.



Я уже умный был, скоро, через год, в школу. Чуть ли не беспечно насвистывая, втягиваю голову в автобус, а затылочком как бы случайно о кромку окна раз и задеваю.

Берет исчезает в клубах пыли, поднятой автобусом.

— Ой, - говорю папе, - берет улетел.

— Я видел! — спокойно, даже равнодушно отвечает папа.

На следующий день папа купил мне фуражку. Такая фуражка была! Ого-го какая фуражечка! С ней я почти не расставался.

Стёпка, Светка Покатигорошек и африканская волкоовчарка (настоящая!)

На лето нас, детсадовскую детвору, из города вывозили на дачи в Березняки.

Там были сосновый бор, берёзовая роща, тихая мелкая речушка, сопки, пшеничные поля, огуречные плантации, телятники, свинофермы и прочее.

Радовала самостоятельность. Можно было ходить куда хочешь, если только воспитатель и нянечка не решали в это же время вести группу на прогулку с утра или после дневного сна. Какие-то непоседливые они были. Каждый день приходилось их выгуливать.

Всё же вырвался однажды отдохнуть от руководства. Смотрю, стоит грибок над песочницей. Одиноко стоит, никого рядом нет. Скучает.

Тогда мода была такая. Прямо посередине песочницы врывался деревянный столб, на него нахлобучивался зонтик-колпак из жести, раскрашенный под мухомор: а красном поле белые пятнышки. Издалека даже и похоже на сказочный гриб. Да и вообще симпатично.

Так вот, подошёл я к затосковавшему грибу, покопался в песке. Нет, ничего не лепится, песок



сухой. Посидел на бортике песочницы, слышу, нянечка зовёт.

Ладно, пойду, она хорошая, ещё заблудится, меня разыскивая. На прощание решил подтянуться пару раз на шляпке мухомора. Подпрыгнул, зацепился за внутренний каркас. Подтянулся. Полраза. Шляпа гриба поехала на меня и треснула по макушке. Больно. Шишка была серьёзная.

С тех пор я к мухоморам как-то не очень. Ну их!

Летние детсадовские дачи. Наверное, так гусары ждали лагерей, чтобы из тесных городов, из душных покоев барышень ринуться в поле, к реке, на сеновал!

Каждый день мы проводили насыщенно и полезно.

Сразу после завтрака двинулись на ферму. «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят...» И мы захотели видеть. Вот и пошли.

Дорога сквозь прозрачную тень березняка. Красиво! Всё бы хорошо, если бы не нянечка. Просто замучила двумя словами. Всю дорогу повторяла: «Скрипаль» и «панамка». Неугомонная.

Неужели не понятно, что панамка — исключительно девчачий головной убор?! Да ещё и с каким-то зелёньким тонким узорчиком.

И что, что я кепку свою потерял вчера в сосновом бору? И не потерял вовсе, а повесил на очень удобной веточке-крючочке. Разрабатывали с партизанами план освобождения соседней деревни. В кино всегда показывают, как усталые партизаны в землянку заходят, снимают фуражки или шапки и вешают на гвоздик. Вот и я повесил. А потом по тревоге (воспитатель и нянечка нас искали) мы покинули тихо секретный штаб и пошли на ужин. Кепка осталась.

Теперь вот панамка. Девчачья. Ладно, после



полдника сбегая в штаб, если в лес пойдём гулять.

Оглянулся, нянечка чуть вперёд ушла. Ага. Панамку в карман сунул. Хорошо!

Сразу за березняком большое огуречное поле. Женщины-колхозницы собирают урожай. А тут мы. Целая детсадовская группа во главе с воспитательницей и нянечкой в тылу. Все такие чистенькие (ещё), нарядненькие, в панамках (тьфу!). А как же, как пороссятам в гости идём. Дело такое. Ответственное.

Уж конечно, женщины-колхозницы заохализаохали. Чуть не засюсюкали. (Тьфу, ещё раз!) Однако под шумок я свою панамку снова в шорты сунул.

Как кинулись тетеньки нас угощать огурцами!- Прямо из корзины бери на выбор.

Я выбрал самый огромный. Этакий лапоть! Ещё зелёный. Хоть и отговаривали, хоть и предлагали поменять на маленький, пупырчатый. Нет, ну что за люди! Сначала угощают, а потом... Покричал вместе со всеми: «спасибо», но огурец не отдал.

Откусывал от него до самого поросёнкиного дома.

Кстати, никакой Анны Ванны на ферме не оказалось. Был там дядечка в белом халате. Пороссята тоже были. На весь хрюшкин двор играла музыка из радиолокола. Модная песня «У моря, у синего моря...»

Пообщались мы с пороссятами. Одному я даже свой огурец отдал. Это вызвало зависть у пацанов. Думать же надо. В гости без подарка не сунешься. А они выбрали маленькие сладенькие огурчики. Слопали их в пути, теперь наблюдают, как поросёнок хрустит моим огурчищем. Этому поросёнку я и панамку подарил. Напялил ему на уши. Он обрадовался и тут же убежал.

Нянечка видела, но промолчала.

После полдника нашёл в лесу свою кепку. Так и висела на дереве. Больше её не терял.

А ещё на даче у меня появился друг Степан. Он уже взрослый парень, первый класс окончил. Это нам только через год в школу. Но Степан вёл себя с нами как с ровней, хотя иногда и посматривал иронично и снисходительно на наши поступки.

Степан умел потрясающе свистеть. Я хотел научиться также. Пытался, пробовал, но без толку. Степан посоветовал набраться терпения. Всему своё время. Вот когда у меня, как у него (Степан широко открыл рот) выпадут два передних верхних (это важно!) зуба, тогда и у меня всё получится. Степан, не чинясь, продемонстрировал шикарную дырку в зубах и оглушительно свистнул.

Эх, когда же зрелость придёт! Вечером в кровати я пальцем проверял зубы. Мало ли. А вдруг! Но они были крепкими.

Шикарная штука, должен признаться, репейник. А применений сколько ему было найдено! Ого-го!

Обратили внимание с пацанами, что если, к примеру, собака проскочит через заросли, непременно на боках липучие колючки принесёт. Вот это открытие!

При игре в войнушку незаменимая вещь. Метнул в противника, и сразу понятно, попал или промазал. Никто не отвертится. Договаривались: если в левую сторону груди или в голову прилетело — всё, убит. Если куда-нибудь в другое место прилип снаряд — ранение.

Конечно, пальцы исколотые были, но бой есть бой, тут не до розовых соплей.

Как-то в пылу сражения не заметил, что на линии



огня нянечка появилась... Вот скажите, зачем?! Вечно с женщинами проблемы!

И вот, нате, вклеил колючку в её кудри. А тут и Каримка с Андрюхой — бах, бах, не разобравшись. В те же кудри. Так ведь случайно же.

Девчонки помогали нянечке, удаляли снаряды. Это был единственный случай, когда человек уцелел в бою после попадания в голову. Трёх боеприпасов.

Следующим утром нас посадили под арест.

Сидели на стульях в кружочек вместе с девчонками, правда, перед этим нам разрешили нарвать много-много колючек. Под присмотром нянечки. Это чтобы у нас снова не возникало желание развязать боевые действия. Кстати, причёска у нянечки неумовимо изменилась. Волосы были спрятаны под белую косынку.

Теперь мы наблюдали, как полезные боеприпасы превращались в какие-то комки. Навроде снежков. Мы даже позёвывали, выражая презрение к ручному бесполезному труду. Кому нужны эти комки? Хотя при известной смекалке их запросто можно использовать как гранаты. (Это Мысль!)

Однако время шло, и из серо-зелёных комков вдруг получился медвежонок. Такой пухленький, как Светка Покатигорошек из нашей группы. С симпатичными ушками. И глазами.

Мы из вежливости даже похлопали в ладоши. Пусть думают, что мы встали на мирный путь.

После всего этого пришлось воевать подальше в роще. Зорче всматривались в обстановку, чутче прислушивались. Мало ли женщин вокруг. Ну их!

А медвежонок и правда был хорош!

Я уже говорил, что на детсадовской даче подру-



жился с местным парнем Степаном. Сыном медсестры.

Дружба наша со Степаном была совершенно бескорыстной. Знаете, общие взгляды, интересы и прочее, и прочее, хотя Степан и старше.

Тут как раз обстоятельства потребовали просить Степана о дружеском одолжении. Как в песне: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...»

Пришла пора делать прививки. Всем дачникам. Поголовно.

Подумаешь, прививка! Ерунда. Сам укол — пыль для парней. Подготовка к уколу — ещё та пытка. И всё ж на глазах. И всё ж на нервах.

Шприц кипячёный из блестящего корытца достаётся с обязательным металлическим грохотом. Игла огромная тоже как-то не располагает к расслабленности. И главное, просто необходимо, чтобы терзаемый видел, как лекарство втекает в шприц. Много лекарства! Собственно, потом уже всё равно, как ватка скользит по коже, как игла вонзается в тело, как жидкость мощной струёй врывается в организм.

За тонкой дверью с крашеными стёклами ждут остальные обречённые. Пацаны и девчонки. Хоть бы девчонок не приводили. Стыда ведь не оберешься. Мало ли, что случиться может. Вскрикнешь там. Или вдруг заревёшь. От обиды.

Вот я со Степаном и договорился, чтобы если совсем укола не избежать, то хоть замыкающим быть, когда в коридорчике останется только нянечка. Остальные уже на нашей веранде с воспитателем. Раны зализывают, умываются от горючих слёз, носы, опять же, в порядок приводят. А тут ты появляешься. С незапятнанной репутацией.

Степан обещал.

Тётя Света (мама Степана) оказалась, как многие женщины, коварной.

Когда вся наша бледная группа расселась в меди-



цинском коридорчике на деревянных лавках, тётя Света распахнула дверь пыточной, обвела взглядом нас, притихших в тревоге, и поманила меня:

- Пойдём, Серёжа, покажешь пример героизма и отваги! Будь первым!

Возможно, и не так она сказала, но смысл близкий.

Кстати, прошло всё быстро и почти безболезненно. Один, ну, может быть, два раза ойкнул. Но, кажется, незначительно, незаметно для окружающих.

Зато потом был компот и пряник. Каждому выжившему после пыток. Но я-то был первым! А это что-то значит! Согласитесь.

Как-то раз Степан чуть было не сделал мне подарок.

Мой друг привёл с собой на дачу потрясающего щенка. Красавца. Немыслимого чёрно-бело-рыжего окраса. С шикарными огромными ушами. При беге уши трепались на ветру, а при остановке закрывали глаза щенку, что доставляло ему радость. Лапки короткие, кривые и толстые. Пузо едва не волоклось по земле. Великолепный, абсолютно белый хвост редко выходил из состояния кренделя. Ведь красавец же!

Степан важно рассказал, что поскольку их Герда (мамаша этого красавчика) родила трёх щенков, а сама ещё довольно молода, то родители Степана с болью в сердце решили раздать новое поколение.

Двоих счастливые соседи забрали, а третьего, самого очаровательного, Степан приберёт для меня.

От счастья я млел. Однако смущало, как мама и папа воспримут такое прибавление в семье. Всё же двухкомнатная квартира. Да и, как я понял по некоторым показаниям, мама с папой решили в скором времени где-то мне брата или сестру приоб-



рести. М-да, ситуация.

Я поделился своими соображениями со Степаном.

Но Степан был настроен решительно. Как так: друг — и без собаки! Стали думать, как назвать породистую африканскую волкоовчарку. Так Степан представил щенка.

Собственно, выбор был невелик: либо Джульбарс, либо Мухтар, тем более, что в приданое Степан давал старую милицейскую фуражку и пообещал ещё ошейник и красивую верёвочку вместо поводка.

Я ярко представлял: родители откроют двери квартиры и увидят меня в фуражке по стойке смирно, а рядом у моей ноги будет сидеть благородный и смущённый героический пёс африканской волкоовчарской породы. Прямо как в кинофильме «Ко мне, Мухтар!» Конечно же родители не устоят, позволят псу жить в нашей дружной семье.

А пока Мухтар поживёт в густых зарослях сирени — там мы оборудовали ему тайное убежище. Натаскали травы, Степан приволок старый ватник и алюминиевую гнутую миску.

Мухтар благодарно лежал на ватнике, лизал наши руки, когда его кормили столовскими котлетами. От хлеба отказывался, зарывал его в сено и после еды убегал по делам. На команды не реагировал абсолютно. Мои сомнения в породистости пса Степан развеивал тем, что Мухтар ещё маленький, чуть подрастет и вмиг поумнеет.

Но я этого не дождался.

Мухтара выловил дачный сторож, татарин Ахмед. Он повалил щенка на спину, трепал его уши, гладил живот. Мухтар повизгивал от удовольствия, что ревностью кололо мне сердце.

— Якши, ай, якши, девочка! — нахваливал Ахмед Мухтара.

Джулька поселилась в будке на дачном хоздворе. Внимания на нас, детсадовских дачников, не обращала. Облаивала прохожих.



Фуражку милицейскую я вернул Степану. Без сожаления.

Не надо, пожалуйста, думать, что на даче мы только отдыхали и предавались неге. Нет. Совсем нет.

Приходилось и охотой заниматься, и собирательством. Древние инстинкты — они глубоко сидят. Куда денешься?

Охотились на бабочек, гусениц, стрекоз, буйволов (это, если кто не знает, крупный рогатый скот, близкий родственник стрекозы, но раза в три побольше), кузнечиков, жуков и прочих насекомых, которые не могли дать отпор. Пчёлам что-то не понравилось быть схваченными. Осам, кстати, тоже. Пришлось залечивать охотничьи раны. Но это опыт!

Собранный зоопарк сначала держали в стеклянных банках, кормили их травой, хлебом, даже кусочками гуляша после ужина. Но, видать, несвобода — штука горькая. Сидельцы отказывались от еды. Напрочь! Пришлось отпускать.

Как и всё человечество на ранней ступени развития, мы, детсадовцы, кроме охоты занимались собирательством. Все. Без исключения.

Ясное дело, девчонки собирали всякие там лютики, листочки и прочую ерунду. Хотя, если честно, ничего себе венки плели с воспитательницей и нянечкой. Сидят такие на полянке лесной, венки на головах из ромашек полевых. Или из васильков.

Это если мы в сопки шли гулять. Через поле пшеничное.

Светке Покатигорошек больше всего венков из васильков к лицу шёл. Фу, о чём это я?

Мы же, парни, занимались сбором серьёзных



вещей. Например? Да пожалуйста!

Сопки каменистые, соответственно, там полно было всяких интересных камней. У каждого мужчины в шортах была пара кусков кремня. О-го-го как они искрили, если ударить их друг о друга. Пожалуй, прояви мы больше терпения, легко бы разожгли костёр. Но сдержались. А то, знаете, веранды на даче дощатые.

Находили осколки стёклышек. Разноцветные. В основном белые и зелёные. Попадались и совсем редкие: синие и красные. Стекляшки мы отдавали девочкам. На что они нам?

А девочки вечно секретики в земле копали. Поналожат в ямку фантики от конфет, ещё какой-то ерунды, прикроют стеклышками и любят. Потом присыплют землёй, чтобы никто не нашёл, и уходят до завтра. А завтра снова охи да ахи, мол, кто такой чудесный секретик сотворил. Тьфу! Смешные.

Мы с пацанами находили целые плантации горной капусты. Она жирная такая была, сочная, только, зараза, невозможно кислая. Пытались с солью её употребить, но нет. Однако, находка полезная! Это тебе не букет ковыля!

Ясное дело, родителям без нас туго было дома одним. Раз в неделю, по субботам, они приезжали к нам на дачу. С утра и до вечера. Их организованно автобусом возили.

Понавезут мамы-папы всякого-разного: фруктов, ягод, конфет, пироженок и прочего. Разбредутся со своими детьми кто куда. Кто на ленивую речку, кто в светлый сосновый бор, кто в прозрачную берёзовую рощу, кто в сопки.

Медсестра, Стёпина мама, фельдшеры и врач бегают кругом, уговаривают не перекармливать нас, а то ж потом проблемы всякие могут быть. Например, с желудками.



Глупости какие! Подумаешь, желудки! Зато грильяж в шоколаде прекрасно сочетается с персиками, а, скажем, дыня великолепна именно с трюфелями. Это я авторитетно заявляю. Понимать надо!

Автобус с родителями выходили встречать заранее. Все чистенькие и нарядные. Нянечка с вечера утюжила нашу одежду.

Воон вдали пыль закружилась, ага, уже и звук мотора слышен, наконец из-за поворота появляется синий автобус. Минута, ещё — и родители несмелой стайкой мнутя перед нами, ищут глазами. И тут визг, крики, смех. Нашлись. Не потерялись.

В один из родительских дней я подготовил маме и папе сюрприз. Думаю, он им понравился и восхитил.

Знаете такую шикарную вещь, как пробка от бутылки? Самая обыкновенная, от лимонада. Или от пива. Да, да, та самая, блестящая, из толстой жести, с острыми зажатými краями, собранными в гармошку.

Ведь чудо, что за вещь! Например, можно было положить на трамвайные рельсы и подождать, пока вагон расплющит крышку. Иногда просто шедевры выходили из-под колёс. Но чаще не очень получалось. Колесо железное, никакого творчества. Как положишь, так и сплющит. Поэтому без предварительной подготовки к путям было лучше не лезть.

Крышечку нужно было распрямить, придать некий вид окончатального изделия. Положишь крышку на бордю и камнем аккуратненько добиваешься нужной формы. Только тогда трамвай выбрасывал из-под себя нужную ВЕЩЬ. Тоненький, блестящий металлический кружочек. Красота!

Но всё же чаще обходились без трамвая. Тем более на даче. Тут в чести был ручной труд. Исключительно.

Насобираешь пробок, уйдёшь подальше от этих



несносных воспитательницы и нянечки и творишь, творишь. В ход шли и новенькие крышечки, и чуть схваченные пятнами старения, и совсем уже откровенно ржавые. Всякая годилась в дело, да и радость в труде важна. Правильно?

Зато потом ходишь, а в шортах таинственно шуршат, перешёптываются кругляши.

Ими можно было замечательные крути пускать на речке. Мало того, что долго и далеко подпрыгивают, так ещё как здоровски под солнцем блещут. Закачаешься!

Можно было кругляши поменять на что-нибудь. Например, на конфету. Вполне себе платёжное средство.

А можно было просто девчонкам подарить. Отдать даром. Пусть себе в секретики прячут или в классики играют. Им же тоже надо. А мы себе ещё сделаем!

Однажды мы придумали нечто иное, что в корне изменило отношение к крышечкам и в итоге привело к тому, что я сделал маме и папе сюрприз, когда они приехали в родительский день на дачу.

Как и все дети, мы играли в войнушку, в партизан. Берёзовая роща и сосновый бор под боком, каменистые сопки и речушка тоже рядом. Играй не хочу. Пусть и под присмотром строгих педагогических работников. Нормально, справлялись мы с ними. Партизанщина чем и прекрасна: незаметно воюешь, по-тихому совершаешь подвиги и прочее, и прочее.

О подвиге чуть подробнее. В книгах и в кино, как только человек совершил подвиг, что командование делает? Правильно. Награждает героя медалью или орденом. Так? Так!

И мы с пацанами подвиги совершали. Разные. То за ужом гонялись (он сумел спрятаться в расщелине в сопках). То для мелочи рыбной в речке запруду



смастерили. То на птичий базар хлеб из столовой таскали. Да мало ли героизма было. Всего и не перечислить. И всё тайком. Разве не героизм?!

И что же получается? Подвиги есть, а наград, увы, нет!

В чью-то светлую голову пришла МЫСЛЬ! Пробки. Да, да, те самые пробочки.

Вынималась тоненькая, но довольно прочная пробковая прокладка (раньше-то она за ненадобностью выбрасывалась, а теперь стала важным элементом), пробка приставлялась на грудь героя к рубашке, с обратной стороны пробка прочно прихватывалась прокладкой. Всё! Орден готов!

Красота? Ну, конечно же, красота! Даже вопросов не возникает.

Награждались мы теперь орденами. Командование не скупилось. Щедрой рукой раздавало награды. Но только за подвиги. Не иначе.

У меня скопилось уже с десятков орденов. А тут родительский день. Я с вечера приготовился. На белую рубашку сразу все ордена прикрепил. Там всякие были. И новенькие, и чуть с пятнышками, и самые-самые дорогие – ржавые.

Поверьте, смотрелось очень и очень сурово и трогательно. Надо же, такой молодой парень, а уже вся грудь в орденах.

Пока папа с мамой осматривали дачу, я ускользнул от них, ворвался в спальню, из-под матраса вытащил рубашку с наградами. Белую. Это важно! Стянул ту, в которой был, влез в героическую и предстал перед родителями во всей красе!

Это такой миг незабываемый. Мама замолчала на полуслове и замерла. (Гордилась, наверное.) Папа приумолк, но похлопал меня по плечу и тихонько сказал: «Герой!»

Думаю, сюрприз удался.



Сразу после дачи началась унылая детсадовская жизнь. Либо в игровой комнате, либо на участке. Всё под присмотром. Как же было здорово в Березняках!

Только напрасно успокоились воспитатель и нянечка. Перед обедом мы с парнями решили уйти в побег. Самое время. Пока народ игрушки собирал по углам площадки, мы, тройка отважных, прокрались вдоль забора к кустам, отделяющим наш участок от соседнего, перелезли через ограждение и всё. Свобода.

Сначала зашли к Кариму. Но на долгий звонок никто дверь не открыл. Затем заглянули в мой дом. Тоже тишина. Зато у Андрюхи получилось прелестно. Ключ от квартиры лежал под половичком.

Как же классно мы провели время!

Поначалу режим давал о себе знать.

Пришлось пообедать. Съели всё сладкое, что нашлось в доме. Конфеты, шоколад, ягоды, фрукты, печенье и вафли. Хорошо покушали.

Потом в большой комнате Андрей побросал прямо на пол подушки. Решили полежать. Сончас по распорядку. Мы же послушные дети, не какие-нибудь там.

Сначала на подушках полежали головами, потом животами, затем ногами. Скучно. Устроили битву на подушках. Чуть-чуть.

Понятно, что без урона не обошлось. Мелочь. Тьфу, просто. Немножко все подушки измазали кровью. Пальцы нечаянно порезались на руках. Это когда стеклянная дверь серванта почему-то вывалилась. А за ней безделушки хрустальные. Ерунда. Порезы маленькие были.

Да и Андрюха сказал, ничего страшного. Подушками смели осколки под диван.

Подвижные игры сменили на лото и просмотр телевизора.



Тут шум, гам, тарарам. Родители появились. И Андрюхины, и Каримкины, и мои. Такие шумные, радостные. С воспитательницей во главе.

Вечером в постели я размышлял. Всё же взрослые странные, чего было суетиться?! В шесть часов вечера мы бы разошлись по домам. Нас же во столько из садика забирали.

Октябратская звёздочка, гитара и дневник

1 сентября 1967 года так бы и осталось рутинным днём: линейка, георгины, девчонки в бантах, «Миру - мир!» в тетрадках.

Мы с пацанами продолжили праздник Первоклассника!

Андрюха и Серёга, в отличие от нас с Каримкой, были мальчишками хулиганистыми, заводными, умеющими увлечь за собой. Андрей заскочил домой и приволок несколько заранее изготовленных дымовух. Знаете, помните, что это такое? Ооооо... Это занятная штука! Бралась проявленная фотоплёнка, отрезалось от неё сантиметров пять, туго скручивалась в трубочку. Теперь этот рулончик нужно было так же туго завернуть в прочную фольгу, скрутить на концах, чтобы получились остренькие носики. Осталось только уложить снарядик на кирпич или тротуарный бордюр и к нижнему концу поднести спичку. Плёнка раскалялась внутри фольги, потом вспыхивала и мгновенно, как порох, сгорала, от реактивных газов ракета летела несколько десятков метров, падала и, отчаянно вращаясь на месте, выбрасывала из своего тонкого тельца огромные клубы вонючего белого дыма. Правда же восторг?! Андрей с Серёгой добились в этом деле высочайших вершин, вполне прицельно устанавливали дымовуху и на спор могли запулить даже в открытую форточку на втором этаже.



Развлекались мы тем, что обстреливали подъезды домов. Перед очередным выстрелом канонир Андрей орал во всю глотку: «В укрытие!»

Мы неслись в соседние с обстреливаемым подъезды, кто в какой. А как же, технику безопасности знали на отлично.

Я заскочил к окошку на площадке между первым и вторым этажами и, замирая от восторга, ждал начала дымового представления. Как только хлопнул снаряд, за моей спиной раздался злобный рык. Не помня себя от страха, я рванул на улицу, зацепился за что-то на крыльце и грохнулся на асфальт, вскочил и побежал, прихрамывая, прятаться в кусты. Только потом оглянулся назад. Из подъезда вышла огромная овчарка, ведомая за поводок хозяином. Мужик погрозил нам кулаком и удалился со двора. Мы же стали считать потери.

Андрюха ожёг руку, слишком уж серьёзный заряд оказался в последней ракете. Серёга испачкал белую рубашку, потому что находил отработанные снаряды, ждал, пока остынут, раскручивал обожжённую фольгу и высыпал пепел на ладонь, мял его пальцами, пытаюсь определить, всё ли сгорело, и если не всё, то почему. Может быть, не совсем туго свёрнута дымовуха? Может быть, нужно плёнки побольше или поменьше? Как всякого экспериментатора, его мало волновали в эти упоительные минуты внешние моменты. Подумаешь, руки вытер о штаны, пиджак или рубаху, не ходить же, в самом деле, с грязными ладонями!

Мои дела оказались более плачевными. Новенькие серые брюки зияли огромными дырами на ободранных коленях.

Вступление в новую, взрослую жизнь оказалось серьёзным испытанием.

Дома мне пришлось выдержать нагоняй, поход в



«Детский мир», покупку новых штанов, но, увы, уже не таких серо-стальных, а обычного чёрного цвета. Колени посадили, подверглись санобработке с зелёнкой, да и всё.

Серёга наутро в школе похвастался привычным отцовским ремнём.

Каримка промолчал по своей азиатской привычке, только возмущённо и обиженно раздувал ноздри широкого приплюснутого носа.

Андрюха же просто не обращал внимания на такие мелкие проблемы, как неприятности с отцом. Батя его — фронтовик-инвалид на одной ноге. Шил на дому шикарные фуражки для горожан. С Андрюхой был скор на расправу. Мог и лекалом портновским звездануть.

В общем, мне кажется, вступление во взрослую жизнь нам с пацанами удалось.

Приняли в октябрята. Весь класс. То ли назначили, то ли выбрали меня на руководящую должность. Командиром звёздочки.

Целый вечер мама кроила из красной ткани нарукавный знак. Маленькую звезду. Положено было. Всё серьёзно.

Недолго звезда красовалась на правом рукаве пиджака. Пару месяцев. Разжаловали в рядовой октябрятский состав. Да было бы из-за чего!

Сцепились с Каримкой, он был рулевым другой звёздочки, на перемене из-за чего-то. Да ерунда, мало ли что. В общем, хлопнул я ему кулаком по носу после того, как он лупанул мне в ухо.

Звонок. Одноклассники по местам, учитель заходит, а тут у Каримки из носа хлещет.

На вопрос, кто, Каримка ткнул в меня пальцем.

Потом-то сказал, мол, а как же, мы же будущие пионеры, правду говорить должны!



Разжаловали меня. Ну и ладно!

Каримку, кстати, тоже, но позже. Сам с кем-то подрался. Указали на него подчинённые из звёздочки.

Не задалась карьера ни у меня, ни у Каримки.

Перед Новым годом папа получил крупную премию, и, видимо, родители, будучи тогда тридцатилетними, молодыми, решили приобрести что-то новое вместо старой радиолы с зелёным огоньком.

В доме появилась Настоящая Современная Магниторадиола «Романтика - 103». Да! Сверху под крышкой справа была «вертушка» для пластинок. Поскольку дисков-гигантов тогда ещё не было, а инженерная мысль советских людей проникала сквозь время, в задней панели аппарата был сделан вырез, аккуратно чтобы будущий размер винила вращался как положено, ни за что не цепляясь. Слева же располагался МАГНИТОФОН! О Боже, Магнитофон!

Ну и непосредственно на передней панели сам приёмник. Красивая, современная и нужная вещь в любом доме.

Ясное дело, скоро появились записи Высоцкого, шуршащие, едва угадываемые, песни из кинофильма «Бриллиантовая рука», голоса Ободзинского, Великановой, Миансаровой и прочее, и прочее. Это всё на плёнках, если не ошибаюсь, второго типа.

А потом стали появляться пластинки. Одной из самых любимых для меня была с песнями Тома Джонса.

Впрочем, тогда из многих окон общежитий и многоквартирных домов нашего города неслась нежная музыка и мягкий голос Тома Джонса рассказывал о своей любви к девушке Делайле, о её измене и неминуемой смерти от ножа. Кровавая сцена... брр, но что поделаешь:



My, my, my, Delilah!
Why, why, why, Delilah!
I could see that girl was no good for me,
But I was lost like a slave
that no man could free...

Широкое внедрение бытовой техники в советские семьи приносило неоспоримые преимущества в счастливую жизнь. Например, снижался процент мелких краж. А это, согласитесь, положительно сказывалось на образе жизни советском, и на внешнеполитической арене тоже прибавляло нам веса. Как следствие, с уменьшением неприятных явлений с уголовным уклоном снижалось количество пациентов в поликлиниках и больницах с разного рода травмами, от ушибов до синяков и от переломов конечностей и черепов до, увы, летальных исходов.

Несведущий, юный читатель, удивится, с сомнением протянет:

— Нууу, как это может быть...

В те времена, в 60-е годы, далеко не у всех горожан имелись холодильники.

Продукты хранились в таких нишах-шкафчиках под подоконником. Ясное дело, что скоропортящиеся долго не лежали. Сплошная проблема с мясом, молоком и их производными. Другое дело, что в гастрономе всегда можно было купить необходимое количество продуктов к ужину или, скажем, к завтраку. Впрочем, речь не о том.

Зимой в наших краях народ использовал средне-суточные минус сорок. Пельмени, рыба, мясо и что там ещё погружалось в сетки-авоськи и наивно вывешивалось на гвоздики, вколоченные в оконные рамы. В нашей трёхэтажке архитектурных излишеств — балконов — не было. Зато каждое окно могло похвастаться целым набором туго набитых разноцветных сеток.



Местные жулики по ночам, вооружившись длинной палкой, на конце которой закреплялся острый нож или опасная бритва, умудрялись срезать авоськи с самых верхних этажей.

Как-то раз полностью очистили за ночь фасад нашего дома от продуктовых наборов. Проблема.

Мужики быстро нашли выход. Сетки появились к следующему вечеру. Ночью было шумно. Кто-то кричал, к кому-то приезжала карета «Скорой помощи». Свистели милиционеры.

В сетках лежали чугунные чушки. Кило под двадцать каждая. От такой авоськи не отскочишь быстро. Это тебе не камбала мороженая.

Травматология городской больницы наполнялась каждую ночь.

Повреждения у страдальцев были до удивления схожи. Переломы рук, ног, черепов. Возможно, и летальные исходы имелись. Жители соседних домов и кварталов перехватили идею и успешно ею пользовались.

Город металлургов зажил спокойно. Шпана отступила.

Процент мелких краж и членовредительства в отдельно взятом городе Северного Казахстана неуклонно падал. А тут ещё в свободной продаже появились холодильники «Север» и «ЗиС-Москва».

Думаю, если нет певческого голоса, это ведь не значит, что нужно отказаться от сцены вообще! Не дано петь, подумаешь. Можно на инструменте играть, аппаратуру настраивать или хоть критические статьи писать. Да мало ли. Поэтому я и стремился к сцене где-то со второго класса.

В школе был свой ансамбль. Настоящий. Три гитары, барабаны, клавиши электрические. Как положено. Шефы с Казахстанской магнитки позаботились. Как же классно парни играли на репетициях!



В зал на танцы нас по малолетству почему-то не пускали. Да и ладно, подумаешь! С продлёнки убежал на четвёртый этаж, где после второй смены раздавались звуки настройки ансамбля.

— Раз, разз, ра-а-аз, — загадочно говорил солист в микрофон.

Видимо, парень с арифметикой не в ладах был, потому что ни разу я не слышал, чтобы он хотя бы произнёс «Два», зато пел шикарно.

И снова

— Раз, разз, ра-а-аз...

— Бум, бум-бум, — повторяла бас-гитара.

— Бдзды-ы-ынь, — ударник палочкой по тарелке.

И потом все вместе под слаженную (почти слаженную, ведь репетиция) музыку:

— Жёлтый дождь стучит по крыше,

По асфальту и по листьям...

Прямо как Олег Ухналёв с любимой пластинки с песней «Дождь и я». Здорово!

Как же мне хотелось туда, на сцену, стоять с гитарой, перебирать струны и устало, меланхолично петь:

— Позвонить ты мне не сможешь,

Чтобы просто извиниться,

Нету телефона у меня-а-а...

Здорово же, а?! Однако я отдавал себе отчёт, что ничего мне не светит, не судьба приобщиться к Великому в ближайшие годы.

Потом у парней был перерыв. Они уходили за сцену, открывали окно и осторожно курили в снежный вечер. Но не все. К солисту приходила в это время Капа. Девчонка-красавица из восьмого класса. Они с солистом это... Только смотрите, никому! Договорились?! Короче это... ну, это самое. Как во взрослом кино в общем. Тьфу. Целовались. Да!

Кстати, у меня тогда сомнения появились, стоит ли к сцене стремиться, если с девчонками надо это.

Ну, это самое. Целоваться.

Потом решил: чем-то всегда жертвуешь. Ладно.

В одну из репетиций, которую я, как обычно, смотрел из-за штор у входа в зал, кажется, перед Новым годом, я вдруг понял, что на сцене никого нет. Парни куда-то ушли. Аппаратура и инструменты одиноко стояли под разноцветными прожекторами. Я подобрался ближе.

Вот она, гитара мечты. Чёрная, блестящая, здоровенная. Протянул руку, чего-то там коснулся, и меня так дернуло током, что мама не горюй! До сих пор на большом пальце правой руки есть ожёг.

Падая, я с уважением подумал о гитаристах: какие отчаянные ребята, их током лупит, а они...

Потом, когда музыканты меня поднимали с пола и приводили в чувство, я слышал как кто-то кому-то говорил:

— Витёк, я ж предупреждал, что к басухе шнур плохо заизолирован!

Так я сделал осознанный выбор и лет через семь бумкал на бас-гитаре.

Помните, раньше какие посылки получали? О! Это сказка!

К примеру, приходит за мной в детсад папа, идём с ним по вечерней метели на почту. Вернее, он идёт, а меня катит на санках.

На почте всегда многолюдно. Запах сургуча, звонкие шлепки штемпеля, гул голосов, скрип перьевых ручек. Всего-то полчаса ожидания, и папе выдают фанерный ящик — посылку от бабушки.

Теперь я в санках не просто ездок, но и охранник важного груза.

Содержимое посылок не отличается разнообразием, тем не менее, это праздник. Под громко кракнувшей от гвоздодёра крышкой оказываются шматки



солёного сала с прослойками, пара десятков яиц, бутылка с пахучим подсолнечным маслом, головки чеснока, конфеты (думаю, для меня). Всё это пересыпано «семечкой». Пара яиц обязательно разбиты. Они так интересно слипаются в комок с семечками, похожи на ёжиков, но всё равно выбрасываются. Иногда вместо сала могут быть тушки кур, пахнущие солнечной соломой. Бабушка осмаливает ею остатки пуха на жирных телах птиц. Бывает, что и гусь, целиком копчёный, напитывает кухню, где всегда раскрываются посылки, потрясающим ароматом.

Такие посылки бывали только зимой. Градусы тогда стояли от тридцати и ниже.

Был у нас рынок, впрочем, как и в любом другом городе. Без рынка как. Только наш рынок особенный, нигде больше не встречал такой людской смеси, которая была в обжорном ряду.

Китайцы торговали дунганской лапшой, узбеки варили плов из баранины, казахи вываливали на прилавки курт и конскую колбасу, немцы чинно предлагали штрудель, армяне стояли у мангалов с шашлыками, чечены степенно доставали из холщовых мешков пресные лепёшки, украинцы бросали на весы шматы сала с прослойками, хозяин пельменной дядя Коля (его все так называли), кричал с раннего утра: «А вот пельмешки! С говядиной, со свиной, с бараниной, с верблюжатинной! Кому русских пельмешек?!»

Молдаване из-под полы наливали вино. Грузины подмигивали жаждущим, плескали в стаканчики чачу, предлагали закусить огненным сациви. Можно было с утра и до вечера бродить по обжорке, втягивая запахи специй и приправ, копчёностей и солений, жареной и варёной пищи. Кухни мира сплотил новый степной город металлургов, куда съехались комсомольцы-добровольцы, ссыльные,

переселенные, «химики», освобожденные из лагерей.

КарЛаг — это рядом. От Темиртау до Караганды километров сорок.

Кажется, во втором классе на продлёнке делал домашнюю работу по русскому.

Так вот, в упражнении было что-то о лесе и лисе. Раза три переписывал дурацкое задание, поскольку в названии животного писал Е, а в природном образовании со множеством деревьев — И.

И ведь правило выучил о проверочных словах и всё такое. Так-то довольно грамотным уже был, что вы. Знал чётко — никакой Ы после Ж и Ш!

Вскоре диктант. Услышал текст. Даже рассмеялся внутренне. Такой диктант — ерундистика для знающих людей!

На следующий день в ожидании триумфа, небрежно откинувшись на спинку парты, гордо окидывая взглядом одноклассников, понимал, что на рыжем животном и скоплении деревьев, как оказалось, можно иметь неплохой гешефт.

А тогда мода такая у учителей была: непременно называлась фамилия ученика, открывалась тетрадь и озвучивалась оценка. Вроде как и ничего, если отлично или хорошо, тешит самолюбие, трояк — терпимо, так-сяк, пониже отметка — позор.

Но я-то абсолютно спокоен, я-то уверен. И... вот он, миг торжества!

— Скрипаль, — и даже не перелистнула Екатерина Никифоровна (это наша первая учительница была) тетрадные листы. Произнесла: «Два». Нет, не просто «два», а вот так: «ДВА!»

Возмущению моему не было предела. Не может быть! Не моя тетрадь! Где, как, почему?! Тут вокруг хихикают еще однокласснички. А как же.



Фиаско было полным. Катастрофа оскалилась кровавой пастью:

— В густом лису жэла леса.

Во втором классе мы стали изучать казахский язык. Раз уж живём тут, в Казахстане, то и язык народа нужно знать. Только вот зачем, если все вокруг говорят на русском? Однако, куда деваться, надо.

Наверное, с полгода пару раз в неделю были уроки казахского. Вела их симпатичная хрупкая девушка с огромными чёрными глазами. Странно, мы почему-то вызывали у неё ужас. Подумаешь, с рогатки пульнули друг в друга или из трубочки рисом плюнули. В целом-то слушались учителя и даже записывали новые буквы в тетради, произносили слова. Песню разучивали про цыплят: «Цып-цып-цып, мои цыплятки, Цып-цып-цып, мои касатки, Вы пушистые комочки, Мои будущие квочки...» Только на казахском языке. В общем, всячески тянулись к знаниям. Правда, к доске отказывались выходить, кроме, конечно, законченных отличников. Их у нас пять или семь было.

После новогодних каникул преподаватель казахского языка не появилась в классе. Уроков больше не было. В совершенстве овладели.

Если покопаться в памяти, то, наверное, смогу наскрести сколько-то слов. Жаль, не случилось познаний в казахском языке. Да и девчонку ту тоже жаль.

Карбид. Если что-то зашевелилось в душе, значит, наш человек читает строки.

Карбид найти раньше не представляло сложности. Хоть бочку набирай. Правда, он в бочках и находился почему-то. В железных. Скажем, на стройке.



Там и брали.

Прекрасная вещь этот самый карбид. Например, плюнешь на него, он начинает шипеть, греться в ладони. Супер камушек.

А если шипит, значит, газ выделяется. Ага... то есть, газ выделяется... ну-ка, ну-ка...

Так-так-так, очень любопытно. Опыт провели. В бутылку плеснули немного воды, напихали травы, сверху сквозь горлышко опустили несколько кусочков карбида. Теперь встряхиваешь бутылку, вода сквозь траву попадает на карбид, и бутылка начинает нагреваться. Что нужно делать? Верно. Срочно бросать бутылку, иначе в руках рванёт.

Увлечлись прикладной химией до такой степени, что в нашем квартале и бутылку порядочную не найти стало. Наука. Затягивает.

Опытным путём выяснили, сколько чего надо, чтобы чинно и благородно бумкнуло. Иногда аж уши закладывало по-настоящему. И осколки бутылочные веером вжик-вжик. Ух!

Странно, что все уцелели. А после летних каникул подзабылось развлечение. Иногда, чтобы навыки не потерять и малышню подрастающую уму-разуму научить, ходили в степь или в недалёкий лесочек.

Жареный сахар. Чудо как хорош. Правда.

К примеру, купишь леденец на палочке. Всего-то пятнадцать копеек. Зато удовольствия на полчаса. Можно и дольше, если не торопиться. Но не получалось. Как-то быстро исчезал «петушок».

Знающие люди, например, одноклассники Андруха или Карим, говорили, что это всего-навсего жареный сахар. Его топят на сковородке, а потом разливают по формам. Тьфу, делов-то.

Понятно, что форма ни к чему, всё это ерунда и антураж. Для девчонок короче. А для парней сойдёт



и бесформенным леденцом. Лишь бы побольше.

Ха-ха... а ведь удалось. С первого раза. Насыпали в чугунную сковородку песочек сахарный, он и растаял, потемнел, покоричневел и запах леденцовый появился. Быстренько слили в эмалированную миску получившийся продукт. Лизнули. Вкусно!

Одна беда. Точнее две. На сковороде остатки сахара прилипли, и к миске леденец приклеился.

Ерунда. Что, в доме больше сковородок нет? Сунул подальше в духовку. С миской ещё проще. Ножом пооткалывали. Кусками. Миску тоже убрал.

Только к концу недели мама хватилась сковороды. Нашла. Конечно, нашла. И миски тоже. И пустой мешочек от сахара. Три кило.

Это мы с пацанами горячо взялись за дело. Зато всё получилось.

Игры как поветрие были. Вроде не знали такую игру — и вдруг разом заболели. С утра до вечера готовы были играть. Например, в пуговицы. Знаете такую? Нет? О-о-о, это азартная игра была! Монте-Карло отдыхает.

В общих чертах помню правила. В земле копалась небольшая ямка, каким-то образом бросались пуговицы. Надо было попасть то ли прямо в ямку, то ли как можно ближе к ней. Точно, чья пуговица ближе, тот получает право первым щелчком пальца по своей пуговице забить чужую в ямку. Промаяхнул — очередь соперника. Ясное дело, кто победил, тот все пуговицы в карман сыпает.

Безобидная игра! На первый взгляд.

Сначала в доме пропадали все запасные пуговицы из маминых коробочек. Потом папа недоуменно хмурился, не обнаружив пуговицу у самого ворота. («Да кому она нужна на воротнике? Только душит!» —



рассуждал я, срезая пуговицу с папиной рубашки.)

Потом мама недосчитывалась пуговиц то на халате, то на наволочках. И это еще так, цветочки, так сказать. Игра — штука жёсткая!

Пуговица пуговице рознь! Ну что там обыкновенная махонькая, пусть даже красная, пуговичка от рубашки? Ерунда. Разменная монетка. За приличную пуговицу с пальто (!), о Боже, таких с десяток надо отдать.

Понимаете весь масштаб пуговичной катастрофы в доме?!

Бывали упоительные дни, когда из карманов штанов прямо вытекали пуговицы, дарились неудачникам, давались в долг. Даже под проценты.

Бывало, скромно отказывались от игры, мол, надоело, да ну его, пошли в чижа поиграем. Стратегический запас пуговиц в доме иссякал.

Надо еще понимать, что были пуговицы — изначально победители. Можно было просто показать их на ладошке, и противник был сражён! Игра-то шла, но вяло, поскольку величие пуговицы угнетало.

Золотыми фишками были форменные пуговицы. Но и они ранжировались. Сначала железнодорожные с молоточками, затем армейские со звездой, потом милицейские с гербом СССР и на вершине — флотские с якорем.

Сказать, что мне везло или не везло в игре, не могу. Так. Ни шатко, ни валко. Но пуговиц в доме поубавилось изрядно. Расправа была близка. Однако, как всегда в жизни, помощь пришла от родственников. Нет, я не наследство получил! Моя родная тётя вышла замуж за моряка, за демобилизованного боцмана Северного флота!

Как вам такое жертвование со стороны тётки? У каждого есть такая тётка?! То-то же!

Пуговицы я в дом вернул. Много. Мама удивлялись, откуда в коробке столько незнакомых пуговиц?! Зато много!



В те времена ходили по дворам старьёвщики.

Мне тогда было интересно, зачем, для чего они покупали рухлядь? Как макулатуру сдавали? Перешивали? Плели лоскутные коврики? До сих пор не знаю, зачем.

Кстати, скупали тряпки они за копейки или обменивали на замечательные вещи. Петушки на палочке — самоварные леденцы! Разноцветные тряпичные шарики на «венгерке»! Свистульки-соловьи с водяным зарядом! Оооооо! В целях гигиены петушков мне никогда не покупалось. Шариком на резинке уже наигрался. Свистулька!

Как-то весной старьёвщик зашёл в наш двор. Пока принимал тряпки у соседей, я живо вытащил из шкафа свои лыжные штаны, такие, типа шаровар с начёсом. Вправду, заготовил их давно, преступное желание совсем одолело. Ну а чего, до зимы далеко, пока ещё родители хватятся!

Вышел во двор. Благо, дома был один. Стою в очереди к тряпичнику, глазами выбираю соловья. Игрушки на деревянном лотке разложены. Красота! Вот уже скоро водицы налью в свистульку да как засвищу! Так же, как, вон, счастливчик Саня из соседнего подъезда. Или Колян со второго этажа. Не судьба. На плече почувствовал чью-то руку. Оглянулся. Дора Степановна! Жила она аккуратно под нашей квартирой, пользовала весь дом, в том числе и нас с братом, в качестве скорой помощи. Фронтная медсестра. Увела она меня от старьевщика, не дала согрешить.

Не было у меня свистульки. Из штанов я за лето вырос. Зато брат их носил потом, когда подрос.

Рядом с нашим домом рыли глубокую траншею. Само по себе это было Событием. Теперь игры в войнушку стали более насыщенными. Тут тебе и



окопы готовые. И брустверы есть. И укрепрайоны естественные. Повезло так повезло. Мешали, конечно, те, кто эту траншею рыл. Вручную. Никакой механизации. Лопатами.

Отгоняли нас, поругивали и посмеивались. Солдаты потому что. Стройбат. Представляете, как нам повезло?!

Эмблемки, звёздочки с пилоток, лычки, старые погоны, стреляные гильзы и даже ремни с бляхами. Настоящие. Например, я получил ремень в обмен на полпачки «Беломора», который стянул у папы. Незаметно прошло.

Недосягаемой целью казалась пилотка. Никто из солдат не хотел даже говорить об обмене, не то что подарить. Даже тот, кому папиросу приносил, Хамзат. Наотрез отказывался.

В гости приехали родственники с двоюродной сестрой Шурой. Она старше на десять лет. Пошли с ней гулять. Проходим мимо траншеи. Хамзат кричит:

— Эй, малой, хочешь пилотку?!

Я даже обомлел. Неужто повезло! Остановился. Киваю в слабой надежде.

— Махнём на сестрёнку?

Засомневался я как-то. Ничего себе. Целую сестрёнку на пилотку, хоть и со звёздочкой. Да и Шура покраснела, заторопилась уходить.

Думаю, хорошо, что не поменялся тогда. Наверняка бы продешевил.

Внимание, внимание, говорит Германия!

Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом.

Завтра в три часа Гитлер будет без хвоста!

Хм... ерундень какая-то. Даже бессмысленная. А в памяти застряла. С детства. И ведь непонятно, для



чего это детское устное народное творчество. Не применимые ни к чему строки.

Другое дело считалочки. Вот, к примеру:

Аты-баты, шли солдаты.
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар!
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля!

Здесь всё понятно, на кого палец ведущего указал на последнее слово, тому и водить.

Или вот, тоже шикарно:

На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной, кто ты будешь такой?
Выбирай поскорей, не задерживай добрых и
честных людей.

И классика жанра:

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф – паф! Ой-ой-ой!
Умирает зайчик мой.
Привезли его в больницу,
Отказался он лечиться,
Привезли его домой -
Оказался он живой.

Много было всякого. Интересно, сейчас детвора пользуется теми самыми старыми считалочками, или что-то новое сочинили? Кто знает?



Первый киносеанс начинался в 8:00. Детский. И вы думаете, что зал пустовал? Не-е-ет. Зритель собирался серьёзный. Это просто название такое было — детский киносеанс и билеты по пятаку за нос, всё остальное по-взрослому.

Кстати, легко было взять билет на первый ряд и посередине. В гуще событий чтобы быть. И звука.

Главное было не забыть в гастроном заскочить напротив кинотеатра и на десять копеек приобрести ирисок.

Предварительно ириски обязательно щупались. Хитрость была такая. Если ириски девчачьи, мягкие, то и ну их. Никакого удовольствия. Не успеешь в рот сунуть, а она уже распадается. Фу!

Ириска должна быть как камень! Языком во рту её согреть нужно, чтобы эластичности придать, потом слегка прикусить, сок выжать, затем остатки квадрата жевать.

Лучшими ирисками были «Кис-кис», «Фруктовый» и божественный, с шоколадным вкусом «Арктика». Но такие редкими гостями на прилавках были.

Сидишь в первом ряду, еле челюстью шевелишь, сладкую слюну глотаешь, а на тебя Чапаев на коне несётся, саблей размахивает или «Пятеро с неба» на парашютах спускаются, или страшный Бармалей со старинным пистолетом детей пугает из «Айболит-66», или... да неважно, восторг. Полный восторг!

Курта захотелось. Прямо невмоготу. Хочется и всё.

Знаете, что такое курт? Не знаете. Если вкратце, это калорийное кисломолочное изделие кочевников Центральной Азии, высушенное в естественных условиях, нечто среднее между солёным сушёным творогом и твёрдым молодым сыром в форме шари-



ков разной величины.

Солёный такой. И твёрдый.

Последний раз кушал его почти пятьдесят лет назад. Вспомнил, что друзья живут в Казахстане. Уважили. Прислали. Наслаждаюсь. Вкус детства.

Пока наслаждался, стал припоминать старинный казахский эпос и легенду.

В ней рассказывается о том, как храбрый воин и пастух, к примеру, Аманжол его звали, ранним утром, ещё солнце не показалось за краем степи, уже запрыгивал в седло.

Куда он ехал? Может быть к красавице Балганым, что жила в далёком улусе, и пришла пора свататься. (Ей-Богу, не находишься, не наездишься. Далеко же!)

Однако, может быть и совсем наоборот, не свататься ехал молодой батыр, а на грозную сечу собирал воинов степной хан. Или...

Впрочем, неважно, куда с ранней зарёй направлялся Аманжол. Главное — торопился очень. Да и путь неблизкий. Некогда остановиться, чтобы (извините!) под кустик по малой нужде... А уж о покушать и речи нет.

Что делает в таких случаях мудрый казах? Правильно! Он бросает в рот кругляшок твердейшего курта, ана (мама) лучше всех в улусе его делает!

Всю дорогу Аманжол, посасывает курт, переворачивает языком во рту. Красота! Пить не хочется, хоть и жарка степь дневная, кушать тоже не хочется. Коровий курт сытный. И, опять же, под кустик (извините!) не требуется.

Но всё же есть у меня кое-какие сомнения.

И вот какие сомнения появились у меня. А ведь и не настолько силен батыр казахский был, если он целый день, от рассвета до заката, мчась по жаркой



степи, рассасывал один единственный кругляшок курта. Видимо, с зубами какие-то проблемы были. Легко докажу это, даже без специальных научных стоматологических исследований!

Как говорится, следите за руками.

Мы с пацанами перед киносеансом заскакивали в гастроном, чтобы купить по сто граммов. Нет, нет, не о том речь, о чём вы подумали. Фи.

Либо твёрдых ирисок, либо леденцов-барбарисок, либо курта. Стоил он тогда 90 копеек за килограмм. На девять копеек кулёчек завернёт продавщица, в карман его, а уже в кинозале достаёшь по одному кружочку и грызёшь, грызёшь. Через полтора часа от десятка кругляшей только пыль остаётся. Вот у кого здоровые зубы!

Помните старую песню о заводском гудке? Там ещё слова такие были: «А всё же жаль, что я давно гудка не слышал заводского...»

У нас в Темиртау, по крайней мере до семьдесят второго года, каждое утро в 6:00 звучал такой гудок. Заводской. Или фабричный. Люди поднимались по нему и отправлялись на работу. Это уже в Невинномысске, куда мы переехали, не слышал такого гудка.

По сигналу поднимались, конечно же, родители. А мы, дети, ещё дремали, в ожидании 7:15, когда мама включала радиоточку и из неё звучали позывные «Пионерской зорьки». К этому времени папа уже уходил на Магнитку, варить чугуны для страны...

Перед уходом он долго и тщательно брился (я подглядывал одним глазом из-под одеяла, мне страшно нравилось наблюдать, как папа несколько раз намазывал помазок и с хрустом снимал щетину с щёк), затем он завтракал чем-то молочным (всю жизнь не могу заставить себя делать это), собирал обед. В зависимости от времени года там были либо свежие, либо солёные огурцы-помидоры, варёные



яйца, колбаса или шмат сала, соль в спичечной коробке, иногда просто кусок варёной говядины или курицы.

Как только за папой закрывалась дверь, я начинал ждать вечера, поскольку папа всегда приносил что-то «от зайчика». Боже, как же это было вкусно!

Изменились времена, изменился образ жизни, изменилась страна. Иногда подспудно жду заводского гудка, сквозь сон понимая, что бессмысленно это, равно как и обнять папу.

Его не стало много лет назад.

Старый чемоданчик. Раньше называли такой «балеткой». Кто его знает, почему, однако балетка — и баста! Советская промышленность такие чемоданчики, видимо, миллионами выпускала, поскольку фактически в каждой семье был такой. Использовался по-разному. Помню, двоюродный старший братишка ходил с балеткой на тренировки по боксу. В чемодан как раз помещались перчатки, спортивные тапочки, майка и трусы.

Но самые главные воспоминания о балетке связаны с папой. На работу он брал с собой, как выражался сам, «тормозок», то есть обед. Важно, что когда папа возвращался домой, он всегда приносил мне, а потом и младшему брату, что-то «от зайчика» — всего-то остатки своего обеда, кусочек колбасы или сала с хлебом, яблоко или огурец. Вкусно безумно было!

Помнится, папа открывал балетку, из неё крепко пахло «Беломором», доставал свёрточек из жёлто-коричневой бумаги, разворачивал и передавал гостинцы нам.

Мне кажется, что от балетки до сих пор пахнет папиросами и папиными гостинцами, только в чемоданчике теперь хранится нужный-ненужный хлам: гвозди, поржавевшие дверные петли, старые,



под прямую отвёртку, шурупы и прочее.

Кажется, уже во втором или третьем классе, в довольно солидном возрасте, я серьёзно задумался, кем, собственно говоря, быть. Пора было принимать решение, возраст поджимал.

Решение пришло спонтанно: буду жуликом! А чего? Вон как они шикарно поживают! Посиживают себе у сараев за трёхэтажками, жгут костёр, лопают колбасу, обжаренную на палочках, пьют вино из горлышка (тут у меня сомнения были кстати), курят папироски, угощают нас, пацанов, барбарисками и прочей карамелью, шепчутся, хохочут таинственно, а самое главное — песни поют. Да такие пронзительные, такие «жалистные»!

Особенно выделялся среди жуликов Гриня. Шикарная фикса, небрежные плевки прямо в костёр, смелость в словах, да и шайка его слушалась. А ещё Гриня пел красивым голосом под перебор семиструнки... «Грабил, убивал, наконец попал за решётку, за стальные двери...» Там дальше о благородстве вора и предательстве возлюбленной. Она, зараза, ему так и говорит потом, когда он босой и голодный, из тюрьмы к ней пришёл (тут аж горло душило): «Ты, мальчишка, вор! Вор на приговор. И теперь иди, куда ты хочешь...» История красивая, с моралью. Как события дальше развивались, не помню, но, кажется, все умерли!

Решение податься в жулики только окрепло!

Как-то увидел, как предводителя местной шпаны Гриню лупил костылём наш сосед-фронтвик. Крепко держал одной рукой жулика за шиворот и дубасил его по спине.

Гриня вырваться не мог, хоть и пытался, противным воем с соплями в голосе просил его отпустить.

Оказалось, Гриня влез через форточку на кухню дяди Степана, схватил со стола миску с горячими



пельменями, сунулся обратно, но был пойман бывшим разведчиком, добывавшим в годы войны языков и потерявшего ногу под Берлином.

Гриня был жалок.

С тех пор я стал подумывать о карьере пожарного. Как громко и красиво они по городу носились!

Я раньше любил делать ремонт квартир. Да! По крайней мере, одной квартиры, которую родители получили, когда я ещё в школу не ходил.

По вечерам, после работы, папа забирал меня из садика, и мы шли в нашу новенькую двухкомнатную квартиру в новенькой кирпичной пятиэтажке. Прежде чем переселиться, жильё нужно было привести в порядок.

Пока папа занимался мелочёвкой — смешивал белила с колером, зачищал стены — и производил другие малоквалифицированные работы — белил стены нежно-салатовым цветом, затем специальным валиком наносил золотистые маленькие рисунки то ли лепестков, то ли дельфинчиков, я успевал сделать очень важное!

Согласитесь, нормальный и качественный ремонт невозможно сделать без головных уборов из газеты. Когда папа заканчивал покраску одной комнаты, я уже доделывал для него шикарную треуголку из огромных «Известий», а для себя — пилотку из газеты поменьше, «Строитель». Теперь можно и перекусить.

Прямо на подоконнике папа расстилал газетный лист, крупно нарезал толстый батон пахучей варёной колбасы с вкраплениями жира, так же крупно кромсал булку ржаного хлеба, четвертовал огромные сахаристые помидоры. В новеньких головных уборах и аппетит просыпался. Мы жевали колбасу с хлебом, хрустели зеленым луком, закусывали помидорами, макая их в соль крупного помола. Чудесно!

А сейчас я почему-то ремонты не люблю. Думаю, из-за того, что колбасы такой нет в продаже или газеты стали другими!

Ничто так не старит, в смысле, не взрослит, как появление в семье младшего брата. Ну или, на худой конец, сестры. Мне повезло. Перед самым Новым годом родители подарочек сделали. Брата. Следующей осенью я пошел в школу. Нормальные дети первую седину получают в первом классе, я же пришел в школу убеленным сединой ветераном. Заботы о младшем страшно взрослят.

Чего не отнять было у моего младшего братишки, так это логики и последовательности.

Яблоки он любил до трясушки. Любые. Кислые, сладкие, красные, зелёные, мягкие, твёрдые — всё равно, лишь бы яблоки.

А дело-то такое — НЕЛЬЗЯ! Диатез прицепился к ребёнку. Ну не зараза?!

Тут, как на грех, отпуск у родителей в августе. Поехали в гости в Воронежскую область. А там яблочный рай, другими словами. Самая пора уборки. Яблоки кругом. Кислые, сладкие, красные, зелёные, мягкие, твёрдые... Их и сушат, и вялят, и мочат, и варят, и просто раскладывают те, которые зимой поспеют. Раскладывали и по дому, и на чердаках, и в сараях, лишь бы сухо было. Запах сумасшедший. Яблочный.

Представляете, какое искушение для четырёхлетнего пацана?!

Но он был логичен и последователен, о чем я уже сказал. Братишка проводил смелые налёты, молние-подобные наскоки, партизанские вылазки и затяжные рейды по саду.



Вроде как и яблок никто ему не даёт, а цветёт мальчишка диатезом, хоть тресни! Родители даже тревогу забили, мол, запах яблок так негативно сказывается на ребенке, уже даже засобирались уезжать.

Брата сгубили самонадеянность и беспечность.

Однажды он пропал. Нет нигде. Бегали по садам, по дорогам, в поле, по оврагу. Голоса сорвали. Шок и отчаяние. Дед собрался к участковому ехать, пошёл за велосипедом в летний сарай, да как выскочит оттуда и всех зовёт: вот, мол, нашлась пропажа.

Братишка сидел под древней кроватью. На полу, на кроватной сетке, кругом лежали яблоки. Все надкусанные. Даже когда брата вытаскивали из сарая, он не упирался, но в каждой руке было по яблоку. Целому. Надеялся, что успеет и их пометить. Ну а что, не съем, так понадкусываю!

Я ж и говорю, братишка был логичен и последователен!

Как-то раз нашёл рубль. Металлический. С вождём. Просто шёл из школы несколько подавленный. Ещё бы, первую в жизни двойку схлопотал. По арифметике. Дурацкая наука. Малоприменимая на практике.

Вот и шёл, опустил голову, тяжело вздыхал, соображал, как помягче родителям сообщить о катастрофе. И тут краем глаза зацепился за блеснувший кругляш. О! Ничего себе! Рубль!

Поднял. Настроение сразу улучшилось. Стал соображать. Та-а-ак-с... Если пироженки по 22 копейки, то... то... ага... четыре штуки... это будет, это будет... ого, еще и 12 копеек останется. А на лимонад не хватит. Ладно, сдам пустую бутылку, добавлю еще 12 копеек, да в значке пятак имеется. Хватит за глаза.

Стоп, а чего сразу пироженки? Нет. Куплю папе



«Беломор», 22 копейки пачка, маме — портрет-открытку с Жераром Филипом (он мне нравился, но, наверное, маме тоже понравится, такой Фанфан-Тюльпан, чего бы и не понравиться). Итого минус 10 копеек.

Та-а-ак. Братишке надо машинку купить. Маленькую. Видел такую в детском мире. Синенькая. На «Победу» похожа. Даже помню, сколько стоит. 46 копеек. Дороговато, конечно. Но брат же!

Ага, получается... получается... сколько же получается? Даже остановился. Нашёл щепку и стал в столбик считать на земле. $22 + 10 + 46$. Это будет, это получится... О, 78 копеек. Класс! Как раз на одно пироженко остается. Какое взять? Заварное или корзиночку? Вопрос.

Пока размышлял, вдруг подумалось, а ничего так наука арифметика! С ней можно жить. Ишь, как всё гладко получилось. И ровненько.

Дома был неприятный разговор. Обещал, что больше ни-ни, никаких двоек! Искренне говорил. Но увы...

А самое обидное, пока размышлял, какое пирожное купить, рубль выронил. Потерял. Зато науку арифметику зауважал очень.

Любили ли вы каникулы так, как любил их я?! Сейчас я не имею в виду те жалкие несколько дней осенью, зимой и весной. Речь идёт только и исключительно о лете.

Собственно, мы с пацанами начинали готовиться к летним каникулам ответственно и беспощадно. Уже в апреле закидывали пробные шары — прогуливали по паре последних уроков. Ну а что? Теплынь, травка, листочки там, цветочки опять же. Река полноводная, в прудах интересности всякие. А тут чахни за партой, как дурак. Великим сказано, что суха теория!



В мае мы уже практиковали рискованные рейды: по понедельникам и субботам вообще в школу не ходили. И снова понятно: воскресенье слишком коротко, чтобы объять необъятное и отдохнуть от уроков.

Была только пара минусов. Первый и очень серьёзный — приходилось брать с собой портфель и одеваться по-школьному, что не очень удобно и совсем не практично в лесу и на острове. Запах дыма, пятна грязи и сажи объяснялись внеочередными субботниками.

Второй минус был менее существенным, но тоже неприятным. Почему-то учителя по нам скучали. Где логика у взрослых? А еще учителя! То они вздыхают после серьезного разговора:

— Глаза мои тебя б не видели!

То вдруг родителей в школу вызывают, мол, скучаем по вашему сыну, сил нет. Просто удивительно!

Голоса у меня никогда не было. В смысле, так-то он всегда был, а чтобы песни петь для народа, так нет. Если там под гитару у костра, в соответствующем состоянии, сразу появлялся голос для пения, а для приличного общества — не-а. Гитара-то ещё звучала, а голос - нет. Руководитель нашего ВИА, добрейший человек, ласково говорил, мол, заткнись. И всё! Да я и не лез в солисты, так, совсем чуть подпевал парням, но не в микрофон. Ни Боже мой!

Хотя в пятом классе был шанс заняться и сольной карьерой. Был. Тоскливое слово, если разобраться.

Помните песню «Огромное небо»? О подвиге летчиков. Они горящий самолёт отвели от ночного города. Сами погибли. Спящие жители не пострадали. Эта песня в начале семидесятых была на слуху.

Чуть позже ровно на эту музыку были положены другие стихи. Тоже о подвиге. Только не о лётчиках, а



о стюардессе Наде Курченко. О героически погибшей бортпроводнице.

Так вот, новую песню никто не знал. Сейчас думаю, что перепевку написал поэт-самоделкин.

Как-то на уроке пения, я рассказал об этой песне. Всё. Тут моя карьера солиста пошла резко в гору. Учитель пения доложил куда следует, и на очередном пионерском сборе, когда вся школа в каре, горны и барабаны, букеты и галстуки, педколлектив и пионерия в едином порыве приготовились слушать о Надежде Курченко от вновь прибывшего карузы, то есть меня, если кто не понял.

Баянист жажнул вступление. Очень достойно и красиво рванул меха и нажал на кнопки. Я тоже жажнул, ну, почти жажнул. Слабовато получилось. Ерундово, если честно. Серенько, с петухами по верхам.

Однако песня обязывала. Я допел, дострадал. Хорошо хоть не освистали. Даже жиденько похлопали под руководством директора школы.

Ведь сами виноваты: никакого прослушивания, никаких репетиций. На голом доверии. Ладно, что было, то было.

Так что когда руководитель нашего ВИА рекомендовал мне заткнуться, я всё понимал и ни на секунду не возникал.

Вот такая поучительная история о неудавшейся карьере.

Конец августа, традиционный поход в магазин за учебниками-тетрадями и прочими карандашами-циркулями. Иду в восьмой класс. Папа спрашивает:

— Сынок, сколько дневников тебе брать?

— Не знаю, — хмуро пожимаю плечами.

Папа не без ехидства спросил, поскольку в седьмом классе у меня их «потерялось» пять штук.



По-моему, тогда купили семь дневников, и они всегодились. Что значит взвешенный и продуманный подход. Хотя, мне кажется, что тайно в тот год я ещё подкупал дневники.

Каждому человеку бывало стыдно, так уж природой устроено. Он, стыд то есть, разный бывает даже по времени, скажем, секунднй, или минутнй, или часовой. Бывает даже недельнй, да! Годовой — вообще зверь! А есть пожизненнй стыд.

Ладно-ладно, знаю, что никто из читателей не грешен, и стыдиться им нечего, поэтому вот моя история, за которую стыдно уже полвека.

У нас дома, как, наверное, и в любых семьях, принято было всё делить на всех. Абсолютно. Даже никогда не возникало желание съесть лишнюю конфету. Другое дело, когда родители почему-то отказывались от шоколада, например, тогда мы делились с братом.

Однажды... Слово какое тревожное, и язык-то не поворачивается рассказывать. А что делать? Решился, расскажу!

Так вот, однажды я заболел. Счастье, хоть и недолгое, но всё же привалило где-то классе в пятом. Температура, ангина и прочие радости отлынивания от школы. И вот лежу я, уже выздоравливающий, горло не болит, температура улеглась, слабость ещё есть, правда, больше надуманная, размышляющая такая. Завтра доктор придет и зачитает приговор, когда в школу топать.

Пока лежу, книжки читаю, нежусь.

Пришла меня проведать тётя, принесла два огромных яблока. Красные, сочные, сла-а-адкие с кислиночкой. Посидела тетя со мной, обсудили разные дела, она и ушла в другую комнату к родителям.

Я сначала яблоко понюхал — ох, ароматное! Затем



впился глазами в «Трёх мушкетеров», а зубами в яблоко.

Не знаю как, но съел оба огромных красных яблока. Честно, не понимаю, как это произошло. Очнулся, когда в комнату зашел братишка. А я с огрызком в руке. Как же было стыдно!

И сейчас стыдно. Вспоминаю — и уши краснеют.

Старый выжигатель. Ха... вот зачем купил его? То есть, когда внезапно наткнулся на такую дефицитную по советским временам штучку в магазине «Юный техник», помнится, аж затрясло всего, вот оно — счастье, вот оно, родимое! В кармане оказалась необходимая сумма, около четырёх рублей. Денежки были накоплены на что-то грандиозное. А в этот день ничего и не собирался приобретать, поскольку ничего особенного не желал, и мысль о будущем приобретении, таком нужном, пока даже не сформировалась. Просто ужасно приятно было ощущать себя Крезом, с таким-то капиталом в кармане штанов в 11-12 лет.

Зашёл в маленький магазинчик, скользнул скучным взглядом по скучным полкам со скучным пыльным товарам и вдруг... оппа! Вот оно! Купил...

То есть, я, конечно, понимал, что теперь обладаю вещью, которая не у всякого пацана есть, и теперь проблема с подарками маме, бабушке, папе, брату, девочкам к 8 марта решена окончательно и бесповоротно! И это в то дефицитное время!

Я видел такие фанерки с нарисованными выжигателем картинками: танки с самолётами, цветочки, морды тигров и котов, рыцарей и лихих джигитов на горячих конях. Ха... теперь-то, думал я, заживу! А чего: фанерок от посылочных ящичков, да и сами ящичков на балконе полно. Разберу парочку, зачищу до белизны, красиво нарисую карандашом, а потом



уже выжгу, с тенями и полутенями. Даже знал, где у папы припрятана баночка с мебельным лаком. Вот, потом лачком и вскрою. Хороша и приятна жизнь обеспеченного человека!

Потом, правда, очень быстро выяснилось, что из всех художественных навыков у меня имелась парочка: ящик посылочный разобрал и фанерки зачистил. И не совсем до белоснежности, а как смог. Всё!

С рисованием тоже не особенно сложилось. Ладно. Не беда! Из какого-то журнала перевёл через копировальную бумагу мушкетёра с лихо заломленной широкополой шляпой с пером, в развевающемся коротком плаще, с выставленной вперёд в колющем ударе ногой в ботфорте. Левая рука красиво поднята вверх и согнута под правильным углом. И, конечно же, шпага, блистательная шпага, непременно направленная остриём в грудь врага. Пока переводил картинку думал, что на всякий случай, чтобы не сомневался восторженный зритель, внизу фанерки красивыми буквами (готическими) выжгу «Д'Артаньян», ну, чтобы сомнений не оставалось от осчастливленного подарком человека, что это именно один из тех, кто за всех! Ах, да, и непременно усы на бледном, узком благородном лице! Реальность оказалась несколько иной... Рисунок размазывался, выжигатель медленно грелся и никак не успевал за моей разогнавшейся в художественном порыве рукой.

Так и не осчастливил я никого своими произведениями! Печально... Зато выжигатель прекрасно сохранился.

В пятом классе собрались с парнями за подарками девочкам-одноклассницам к 8 марта. По рублю сбросились и пошли с утра по магазинам, поскольку во вторую смену учились.



Ходим, товар выбираем, носы воротим, ничего не устраивает, фигня ерундовая везде. Вот в «Детском мире» был выбор, да! Как раз завезли наборы оловянных солдатиков, танчики, пушки и прочие прекрасности. Но это ж для понимающих взрослых людей, не для девчонок. А так, чтобы для девчонок... да не было ничего! Какие-то пупсики, ванночки и прочая ерунда.

Время поджидает, надо решать что-то! Тут раз — книжный отдел, а в нём - «Хижина дяди Тома». Свеженькая. Только что «выбросили» на прилавок. По 75 копеек за штуку.

Так что наши девчонки-одноклассницы в тот предпраздничный день пили в школе чай с барбарисками (денег осталось только на леденцы, зато на три килограмма), рассматривали открытки и листали шикарное издание «хижины»?

Книг у нас дома всегда в изобилии было. Подписные тома в основном. И, конечно, отдельные книги. Так что читал много, всегда и везде. Даже на уроках. Положишь книгу на колени и бегаешь глазами по строчкам сквозь щель между партой и откидной крышкой. Не на всех уроках, увы! Скажем, на русском или алгебре никак. Писать надо было. А на всяких ненужных уроках вроде ботаники или географии с историей запросто. Учитель что-то говорит, указкой тычет в карту, красота!

Сидишь за третьей партой и наслаждаешься насыщенной жизнью героев книг. Пару раз попадался, конечно, когда подсказывал на месте от возмущения, если главного героя обижали или наоборот, он смело мстил. Это понятно, иначе никак. Зачем тогда читать без эмоций?

Книжки разные были по содержанию и по толщине.

В шестом классе сразу с осени приступил к тол-



стенной «Анжелике».

Классная повесть. Захватила с самого начала.

Дошёл до места, где Николая что-то такое с Анжеликой делал. Вот, гад! Зачем-то повалил её на сеновал и сделал ей больно, а она смотрела на него и не сопротивлялась.

Мерзавец! (Это из книги слово подцепил.) Она ж нормальная девчонка. И хулиганила, и помогала людям. Почти тимуровка. И вдруг Николая обижает!

Дёрнулся я от возмущения. Книжка упала на пол.

Биологичка потребовала положить книгу ей на стол. Отнёс. Еле дождался перемены, нашёл возмутительное место и спросил учительницу, что, собственно происходит? Биологиня слегка порозовела молодым лицом и невнятно пробормотала что-то об анатомии человека, которую будем изучать в старших классах.

Что сказать... Дождался я ту анатомию. Нудятина. И объяснения возмутительному поступку Николая на уроках не услышал.

И чему только в школе учили...

Скажите, друзья, улыбалось ли вам счастье, когда вы учились в школе? Редко? Никогда? Ох! А мне улыбнулось однажды!

Во время весенних каникул в седьмом классе мне несказанно повезло. Я СЛОМАЛ РУКУ! Вот просто ляпнулся со ступеней одесского автовокзала, и детские нежные лучевые кости хрясь! и пополам!!! Причем повезло дважды! Поломал ПРАВУЮ руку! Нет, ну вы понимаете, какое счастье обрушилось на мою голову?!

Боже мой, как это было упоительно! Не сам момент, конечно, когда кости хрясь! Позже. Но довольно скоро, уже в кабинете автовокзального врача, который поставил лангету. О, какие мысли кружились в моей голове, о, сколько выгод и прият-



ностей я получал с этого момента! Ну, вы же понимаете!

В первый день после каникул я гордо вошел в класс, не менее гордо неся на широкой перевязи свою загипсованную руку. Я ловил на себе завистливые взгляды пацанов, но не замечал их, небрежно уселся на своё место, неловко расстегнул портфель, «нечаянно» выронил из него почти всё.

Рассчитал правильно. Танечка, не обращавшая до этого на меня внимания, села на корточки и подала Герою, ну, мне, моё барахлишко. А я взглянул в её прекрасные глаза и прочитал в них... (Впрочем, до дна я в них прочитал лет через пять. Но сейчас не об этом).

Итак, месяц я сидел на уроках и ничего не делал. Только вроде как слушал учителей. В моих тетрадях были записи через копирку. Спасибо, Танечка!

Конечно, я лукавил, доктор сказал, что писать и рисовать даже полезно. Глупый дядька. Сказал об этом только мне!

Прошёл месяц, лангету сняли. До конца четверти оставался тоже месяц. Надо было что-то делать, и я со своим врожденным красноречием как-то убедил, уломал, упросил медсестру отдать мне снятый лангет. Праздник продолжался!

Утром, по дороге в школу, я просовывал руку в лангет, слегка обматывал его бинтом и вешал руку на перевязь. В школе не забывал иногда морщиться и поглаживать ноющие раны.

Однако спалился глупо: однажды вечером врезался на велике в свою же классную руководительницу. Без лангеты на руке.

А ведь такое предприятие рухнуло в одночасье!

По вечерам в феодосийском пионерлагере «Алые паруса» устраивали танцульки. Между рядов палаток была площадка, где то строились бесконечно на



линейки, то маршировали, то зарядку делали. После ужина там же и плясали, поднимали ногами пыль под баян дяди Васи. Музрук шикарно играл, пальцы бегали по клавишам, меха разводились широко. «Летка-енка», «Семь сорок», «У леса на опушке» и прочие хиты того времени радовали пионерию и педколлектив.

Физрук, хмурый детина, приходил на танцплощадку с пионерским барабаном и, изображая Ринго Старра, молотил палочками. Дядя Вася хмурился и кривился от физручьего полного непопадания в такт. Но дядя Вася был интеллигентным и мягким человеком. Пару раз просил физрука не стучать или хотя бы порепетировать. Впустую. Так что, страдая, дядя Вася продолжал играть. А физрук – молотить. Аб-со-лют-но мимо. В никуда. Только по ушам и по нервам.

Пришлось вечером, после отбоя, прокрасться в палатку, где жил физкультурник и парни-вожатые. Впрочем, можно было и не прятаться особо. Кто не знал, что максимум через час все вожатые, плавуки и физруки смоются на пляж, откуда будут слышны песни под гитару, перезвон стаканов и смех.

Я надеялся, что убил чувство прекрасного в физруке напрочь. Барабан пропорол ножом с обеих сторон, палочки поломал. Старшая пионервожатая другой барабан физруку не дала. Умная девушка.

Только физрук не расстроился. Он стал подпевать дяде Васе. Через пару дней танцы под баян прекратились. Совсем.

Школы приходилось менять в связи со сменой места жительства. В одной из них не сложились отношения с географиней. Никак не сложились. А ведь 7-й класс, самый мерзкий возраст. И учитель не нашла ничего лучше, как коверкать мою фамилию. Я поправляю, ударение с первого слога на последний



ставлю, как положено, а она тут же «СкриПаль» вместо «СкриПаль».

Задевает же, согласитесь.

Как-то раз, после её очередного выпада, ответил ей, мол, да, конечно, ПолЕна ФедОровна, и что-то по уроку затарахтел.

Женщину заклонило, думал — хана училке, покраснела, ртом хлопает, ах, говорит, если бы я была твоей матерью...

Не дал ей договорить, продолжил:

— То я бы повесился!

И это всё под рев и стон класса.

В свидетельстве об окончании 8-го класса Полина Фёдоровна поставила мне 4. Кстати, после того случая фамилию мою называла правильно. Всегда.

Первое свидание.

Все помнят? У каждого по-своему, понятное дело. К концу восьмого класса понял, что Ирка К. мне нравится. Очень нравится!

Долго мучился, сомневался, решался. Писать записку с приглашением на свидание? Да ну, глупо как-то. Чего писать? Вон она, в соседнем ряду за партой чёлку поправляет, глаза большие красивые к потолку поднимает, размышляет над задачкой.

И на перемене не подойдёшь просто так, мол, Ирка, приходи на свидание! Здравьсти... ещё неделю назад за косу дёргал, а тут на тебе!

Ладно, придумал. Фамилию и имя знаю. В горсправке за пяточок выяснил адрес и номер телефона.

Помните же, кто-то великий сказал, что правду в глаза лучше всего говорить по телефону!

Позвонил. Мама Иркина ответила. Вежливо поинтересовался, дома ли её дочь и попросил передать трубку.



Та, легкотня оказалось. Поговорили об уроках, о домашнем задании. Минут сорок. Никогда не думал, что так приятно с девчонкой говорить. В конце уже, вроде как по лбу себя хлопнул, а давай встретимся в субботу. Сам думаю, завтра же в школе увидимся. Ирка ответила согласием. Хитрюга!

До субботы ещё три дня. Думал-думал, размышлял, куда ж пойти с Иркой. Мама выручила. Сказала, что есть два пригласительных билета на концерт в ДК химиков. Ура!

Там и назначил свидание. Справа от входа.

Пришёл в костюме, в начищенных ботинках, в белой рубашке с галстуком. Без цветов. Как-то не подумал.

Ирка сразила наповал. В красном коротком платьице, в красных босоножках на высоком каблучке и с красным этим, как его, ну, на голове такой... аааа... ободок. Ребята, это ж вообще, это ж полный отпад. Красавица!

Весь концерт просидели рядом, держались за руки. Потрясающе, да!

Кстати, концерт был Иосифа Кобзона. Ничего не помню. Только мягкую руку, запах духов и какое-то новое чувство. Эх!

Ах, с каким замечательным звуком цветочные горшки разлетались об асфальт, выпущенные до этого из кабинета химии на третьем этаже школы! Непередаваемые звуки, как в кино о войне.... фшшшшш.... бббухххх... И так раз пятнадцать. Подряд.

Где-то во второй половине октября мы с пацанами более-менее стабильно начинали ходить в школу, фактически на все уроки, даже (!) на первые и последние! Ну а чего? Вода в Кубани уже была холодной, в лесу тоже становилось сыро и скучно. Надо же было хоть чем-то заниматься длинными

днями? Почему бы и в школу не сходить?!

Мужчина должен быть вооружён. И на колёсах

Мужчина — в первую очередь охотник, добытчик и защитник. Ни у кого эта аксиома сомнений не вызывает? Правильно. Ни у кого.

Для того, чтобы эффективнее охотиться, добывать и защищать, что требуется? И снова верно! Оружие.

А где его взять? В магазине ружьё не продадут взрослому парню лет семи-восьми. Самому приходилось изготавливать.

Перво-наперво лук. Уже не рогатка хулиганская. Хотя рогатка и вещь нужная и замечательная.

Итак, лук. Крепкая орешина в самый раз. Согнуть в дугу, натянуть тетиву из толстой лески — это ещё полдела. Стрелы нужны. Ровненькие. С оперением. Чтобы летели как песня. Натянул лук, раз, стрела вжик — и в цель. В добычу.

С добычей не заладилось. Дичи в нашем дворе не водилось, увы.

Постреляешь то в дерево, то ещё по каким-нибудь мишеням, ну, кошка пробежит или голубь зазевается. Однако, мимо. Быстрые птицы и животные.

Вроде, как и всё. Лук в кладовке лежит, дожидается, когда защищать понадобится кого-нибудь. Маму или брата младшего.

И душу греет — оружие есть!

Рогатка. А? Звучит? То-то же. Рогатка.

Как можно жить без рогатки? Верно. Никак. Каждый имел эту необходимую вещь. Иначе смех один, а не пацан.

Конечно, рогатку надо было ещё правильно



сделать. Аккуратненько вырезать из орешины, сирени или ивы. Чтобы крепкая была.

Тут кто-то из пацанов приволок во двор алюминиевый прут. Толстенный. Треугольный в сечении. Так что рогатки у нас были военные. Настоящие. Металлические. Крепкие. Гнули форму молотками. Напильничками заглаживали. Шкурками шлифовали. С любовью!

Резину подобрать – тоже наука. Кто-то делал из множества нитей резинки-венгерки. Мощно получалось, но, увы, через какое-то время венгерка начинала путаться в пучке.

Резиновый жгут. Ох, отличный был. Дефицитный, однако. Аж из самой столицы нашей Родины города Москвы иногда привозили. Сане, соседу моему, например. Он поделился. Жгут тоже надо было аккуратно порезать, чтобы никаких «зайцев», заусенцев то есть, а то кранты, порвётся жгут.

От велосипедной камеры тоже неплохая резина получалась. Это если камера не совсем изношенная была.

Да много вариантов, чего там. Я остановился на оранжевой резиновой медицинской трубке. Мощь! Колошматила будь здоров!

Ещё нужен был кусочек кожи. Прочный. Мягкий. Лучше всего подходило искомое от сандалей. Язычок такой, куда ремешок вставлялся. Только проблема небольшая, почему-то родители против. Да и ладно. Есть мамыны осенние сапоги. Один сапог в голенище на три сантиметра пришлось укоротить. Почти ровно получилось. Незаметно. Да тьфу, до осени ещё о-го-го сколько, а сейчас май!

Всё. Готова рогаточка!

Уж куда пулять из неё – дело выбора каждого.

На моём счету пара форточек у соседей на третьем этаже. Но это не из хулиганства, а на спор. Лампочка на деревянном столбе на стройке. Что-то ещё. Не помню.



Конечно, можно было сунуть в карман штанов игрушечный пистолет. Уверенности прибавляет, но не более того.

Хотя, чего там, появлялись иногда в «Детском мире» не пластмассовые ерундовины для малолеток, а солидные изделия для взрослых парней. Металлический наган. Точная копия настоящего. Но поменьше размером. Пистонной лентой бахал. Ух! Ещё ТТ продавался. Тот вообще... аж дыхание захватывало. Одинарным пистоном жажал. Солидно всё. Курок оттягиваешь, пистон укладываешь. По сторонам посмотришь хмуро и кааак... Не было у меня ни нагана, ни ТТ. Не сложилось. У пацанов брал стрелять.

Пистоны быстро заканчивались, и купить их было невероятно трудно. Так что холостыми стреляли. Впрочем, при игре в войнушку это большой роли не играло. Достаточно было «тах, тах, тах» проорать, и противник понимал – хана, надо падать.

Но всё равно, очень хотелось иметь оружие.

Папа серьёзно выслушал меня, когда автомат, выпиленный его руками из сосновой доски, дал осечку — развалился на части. Подумал немного и... мы пошли в магазин.

Всего-то полчаса туда и мгновение обратно. У меня появился огромный кольт. Тяжеленный. С отличным боем. И стрелял он не пистонами, а обычной бумажной лентой. Да. Лента наматывалась на шток под затвором, вставлялась в специальную рамку. При взведении курка создавался небольшой вакуум, при нажатии раздавался оглушающий хлопок. Это было великолепно и незабываемо! Самое главное, что ленты для стрельбы легко нарезались из газетной бумаги.

Это, скажу я вам, одно из величайших изобретений человечества. Пугач!

Девчонки подпрыгивали с визгом. Соседкам не



очень нравилось, всё норовили подзатыльник дать.

О металлургии прикладной ещё забыл рассказать. Дело стоящее. Поверьте.

Поскольку город наш и создавался для металлургов, то всех этих разных железяк было в избытке. Буквально плюнь, в железку попадёшь. Честно! А уж свинец достать было совсем не проблема. Кусок толстеного кабеля в свинцовой обмотке всегда можно было добыть на соседней стройке.

Практически каждый пацан имел понятие, что такое пуансон и матрица, болванка и отливка, форма и шихта. И коксующиеся угли, например. Вот так-то.

В принципе, можно было в дворовых условиях сделать отливку чего угодно, однако, в первую очередь нужно было оружие. Пистолеты.

Кому-то из счастливицков родители купили пластмассовый парабеллум. За целых 55 копеек. Красивый пистолет, такой прихватистый к руке. Только цвет почему-то красный.

Чем не форма для изделия? Из глины лепилась матрица и пуансон методом облепливания пистолета со всех сторон. Глина чуть высохла и ком разрезался. Кисточкой и кончиком ножа выравнивалась поверхность отпечатка, подправлялись штришки.

В земле вырывалась ямка, куда опускались крепко связанные между собой глиняные половинки.

Расплавленный в консервной банке свинец аккуратненько заливался в оставленное отверстие формы.

Всё. Очень скоро готовое изделие вынималось, обрабатывалось напильником, наждачной бумагой, при желании красилось в чёрный цвет какой-то вонючей краской. Сохла она долго, но зато и держалась – зубами не оторвёшь.

Отливали свинчатки, кастеты, грузила, да чего



только не делали. И всё ж для дома, для семьи!

И никаких минусов в производстве. Не в счёт прожжённые штаны и рубахи, ожоги на руках и ногах, плохо отмываемое от свинцовой пыли лицо и другие части тела.

Зато вещь на века!

Поджиг! А! Что, дрогнуло сердце? То-то же. Поджиг – это вам не баловство, это совсем иное дело. Настоящее. Мужское. Рисковое.

Не буду вдаваться в подробности изготовления. Так, штришочками. Стальная трубка с расплюснутым концом, лучше залитая свинцом, чтобы не порвало при выстреле.

Да! Именно при выстреле. Иначе б зачем тогда поджиг?!

Ствол прикручивался намертво к деревянной рукояти сталистой проволокой. Опять же – техника безопасности. Стрельба – дело прицельное. Мало ли, ствол поведёт.

На определённом расстоянии от рукояти в трубке делался пропилен, чтобы через него пламя от прикрепленной спички попадало в ствол.

Теперь осталось наточить серу со спичечных головок, запыжевать чем-нибудь, вставить дробь или кусочек гвоздя, снова плотненько утрамбовать пыжом и...

Прицелиться в мишень, чиркнуть коробком по спичке. Гу-гух! Выстрел. Грохот. Трам-тарарам!

Сначала на руки бросаешь взгляд. Целье! Только слегка в пороховой гари. Целый день можно нюхать. Запах, ммммм... Ну и демонстрация боевых напылений тоже много значит. Неверующим – руку под нос.

Иногда в цель попадал. Было дело. Потом рассматривали банку консервную, пробитую насквозь зарядом. И важно, чтобы подальше улетела. Это



очень важно! Класс оружия подтверждался. И меткость. Если попал.

Бутылка, разнесённая вдребезги, очень ценилась. Не сбитая выстрелом, а именно разнесённая.

Однако опасное дело — поджиг. Как-то не очень прижился.

В соседнем дворе парню пальцы покалечило. Разорвался в руках поджиг.

Да и родители обнаружили у меня оружие. Забрал папа.

Ну и правильно!

Ещё одна занятная штука была. Называлась у нас самострел. Лёгкое в изготовлении и пользовании оружие. Всего-то требовалось выточить из доски макет винтовки, автомата, да хоть пистолета. На конце ствола прибить резинку, ту самую, обыкновенную, скажем, для тросов. У приклада сверху прикрепить бельевую прищепку. Только такую, чтобы жёсткая была, с хорошей пружиной. Всё! Самопал готов.

Оттягиваешь резинку, в неё вставляешь горошину, камешек, что угодно, лишь бы небольшое по диаметру, зажимаешь в прищепке.

Теперь нужна мишень.

В войнушку было классно играть. Сразу понятно, попал в противника или нет. Это ж тебе не «тррррррр» или «тах-тах-тах» какое-нибудь.

Больно прилетало, ощутимо. Так ведь нечего подставляться!

Зимой нашёл поломанную лыжу. Ого! Припрятал в подвале.

Весной расщепил вдоль, лишнее ножовочкой отрезал, заусенцы и прочее напильничком обрабо-



тал. Классная такая полоска получилась. Упругая до изумления. Для лука, однако, коротковата. Жаль.

Ну, ничего, ничего, нашлось и для бывшей лыжи применение.

Да! Арбалет.

Понимаю, что и вы об этом подумали.

Ложе для оружия из широкой доски вытачивал долго. Очень долго. Однако получилось шикарно. Ладненько так к плечу ложилось.

С канавкой для стрелы тоже повозился. Но оно того стоило.

Спусковой механизм из пружин раскладушечных и из сталистой проволоки. Крепкий.

Тетива из толстой лески в самый раз. Специальным проволочным крючком натягивалась.

Болты, стрелы то есть. Вариантов много было. От лёгких ровных веток до шампуров шашлычных. Раньше были такие алюминиевые, треугольные в сечении и короткие. В самый раз ложились. Надо было только хвосты аккуратно обрубить и зачистить.

Шикарная штука арбалет. Болт со свистом вылетал и довольно прочно застревал в деревьях. А куда ещё стрелять?!

Недолго арбалет у меня пробыл. Из осторожности домой его не приносил, прятал в подвале.

Однажды он пропал. Больше не стал делать. Новые лыжи на арбалет пустить — кто бы мне простил?!

Средство передвижения — это прекрасно. В любом возрасте. А уж в детстве. Эх! Велосипед — несбыточная мечта. После трёхколёсного как-то не заладилось.

Во дворе были счастливики. Носились себе на «Школьниках», «Орлёнках» или даже на «Уралах» под рамой, поскольку ноги до педалей не доставали. Иногда давали и нам, безлошадным, прокатиться по двору. Разок. Один кружочек.



Вечно же не будешь клянчить, надо подумать о собственных колёсах.

В соседнем микрорайоне увидел самодельный самокат. Пацаны носились по очереди. Присмотрелся. Ха, ерунда! Дел-то на пару дней.

Решено. Два ржавых подшипника давно в банке керосином отмокли, закрутились. Доски на ближайшей стройке нашлись. Ножовочкой подравнял, придал нужную форму и размер, рубаночком выгладил до блеска. К нижней доске деревянные оси из черенка лопаты приделал, на них подшипники набил. К верхней, перпендикулярной доске приколотил палку, за неё во время катания держаться как за руль. И никаких тебе поворотных систем, никаких тормозов. Всё. Поехали!

Эге-гей! Вот это насыщенная жизнь. Свои колёса. Ногой от земли оттолкнулся, разогнался и покатил по асфальту. Вой и скрежет подшипников радуют душу. Не еду, лечу!

Только взрослым не нравилось. Громко слишком. Потом папа набил подшипники смазкой. Шика поубавилось.

К осени доски разболтались, самокат развалился. Вовремя. Пора уже коньки и лыжи из кладовки доставать.

Самокат на подшипниках – отличная вещь! Однако четыре колеса надёжнее. Всегда.

Пришла мода на тачки. Вообще шикарно! Комфортно. Потрясающе.

Сидя управляешь повозкой. Доски крепкие, поворотная система скрипит. Подшипники гремят, искры вышибают, пацаны от зависти бледнеют, жители микрорайона восторгаются. Ветер в ушах поразбойному свистит. Это если друзья помогают разогнаться. Или под горочку несёшься.

Минусы есть, конечно. Но не существенные. К

примеру, руль очень низко. Держишься за него, а в паре сантиметров от пальцев асфальт. Со всеми неровностями.

Можно крючком из толстой проволоки за грузовик зацепиться. Вот тут вообще красотень. Это пока шофёр не заметит. Тут уж ноги в руки, то есть тележку под мышки и драпать. Почему-то водители извергами были: то по шее надают, то уши надерут и всё норовят адрес выпытать. Ага. Сейчас. Скажите, это надо родителям знать?!

Тележка недолго у меня была. Жалко.

Однажды разогнался с пригорочка, затормозить не успел. Тачка прямо на проспект выкатилась. Там всякие дурацкие троллейбусы, автобусы, трамваи и прочее. Пришлось оперативно десантироваться. Так, немножко весь поцарапался, ушибся, шорты и рубашку порвал. Обо что, непонятно. Обидно было.

Тачка заскакала быстро-быстро, поворотный механизм, видимо, заклинило. И трах-бах, под самосвал. Прямо под колёса. Доски вдрызг, подшипники в стороны.

Время, казалось, по-черепашьи двигалось. Когда ещё те каникулы. Хотя бы осенние. А потом, не успев оглянуться, понял, что школа-то за плечами. Впереди целая жизнь!



Облака

Какие облака!
Обвал и свалка света!
Шиповник, и сирень,
и сизости волна
угрюмая, без дна,
и нежная при этом.
И брюхо жёлтое
и Дух полуодетый,
И воплощённый вихрь,
и тишина...

Клубятся и кружат —
и всё на прежнем месте,
как жизнь — моя и всех,
но чище и мощней.
Везде одна Душа, но
не подвластна лести,
тем радостнее — там,
чем здесь, больней, больней...

Заплакать?
Заплясать от высоты и рани?!
В душевной глубине
небесная строка —
Отражена — молчит...
И ты бубнишь в тумане:
«Какие облака!
Какие облака!...»



**СТАНИСЛАВ
ПОДОЛЬСКИЙ**

Поэзия



Плач Иова

Ивану Аксёнову

Сторают сыны на пороге свирепого века.
Отцы остаются в пустыне в унынье, крича...

«Я сына привёл мир украсить и очеловечить,
а Ты его сбил, и пожёг, и пожрал, саранча!
Он был моим солнцем, высокий, весёлый и смелый.
Твоё напряженье он ведал, но не признавал.
И вот он распался, пропал,
стал землёй зачерствелой.
Так что же мне делать?
Я будущность вмиг потерял...» —
старик вопиет среди белого мрака полднемья,
где чёрным светилом слепой источается зной.
И вопль его нем. И пространство пустое не внемлет.
И внучка по проводу гибко скользит над землёй...

Предчувствие

После чёрных обещаний
мрачной вымершей весны,
после грозных задыханий
летней атомной жары
я не верю в этот мягкий
предосенний ветерок,
ласковою опечаткой
затесавшийся меж строк
огнедышащего года
разве только лишь затем,
чтобы будущей невзгоды
кровь — до золота стереть...



Он широкий, благодатный
раздувает костерок —
как строитель бородатый,
зачищая мастерок...
Вот он, огненно-кленовый,
примеряется, свистит,
чтобы года свод толково
бурей чёрною свести.

В дыму

Дымный воздух, горький воздух
под ночными небесами —
воздух времени нервозный,
воздух осени сусальный.
Тяжко дышится, тревожно
в этом воздухе стоячем,
в этой темени беззвёздной,
в этой участи незрячей.
Может, вызведит к рассвету?
Может, сквозняком прохватит?
Отдышаться бы! За это
всё отдать, всю жизнь потратить!
Лишь бы в хмурости природной
всем достался свежий, талый
дух правдивый, вздох свободный,
воздух родины кристальный...



* * *

Ясность. Синь. Простор. Снежок
на отрогах гор.
Ключевой февральский день
выдался, дружок...

Помню ранний свежий мир,
встречи на бегу,
в мышеловках чёрствый сыр,
юную пургу,
достижимые призы,
гибельный азарт,
оборзение тоски,
свет — глаза в глаза...
Помню Тихий океан,
бурную тайгу,
рынка алчность, бред и гвалт,
лёд и Колыму...

Всё ушло в небытие,
схлынул шум-торжок.
С нами — ясный зимний день,
Синь, простор, снежок.

Ночной дождь

Дождь за окном,
лапчатых капель обвал.
Дикая ночь
дышит, бормочет, скребётся.
Дождь за окном,
капли твои б целовал
в мордочки, в губы, в глаза
в холодок золотой —
как придётся...



Душу целит
 тихая эта возня
влажных зверьков, щекотливых,
 прозрачных, пугливых.
Дерево нервов
 слухом растёт от дождя.
Ночью шумливой
 деревьям не так сиротливо...
Дождь за окошком
 мир не спеша обошёл,
сердце утешил
 свежим шуршащим эфиром.
Я бы от боли
 и так, без дождя, отошёл.
Как же теперь не уйти
 в дождь за окном терпеливым?!

Бросок в непогоду

Туманный день.
Сады цветут, как раны.
Пылает хлор
 озимых под дождём.
Все семь цветов—
 ожогами — в тумане.
Кармин «Икаруса» взрывается
и прямо —
 болидом яростным —
 шурует напролом...
Семь красок солнца
вместо солнца
странно
восходят в свежести,
омытые дождем...



Угрюмый уголь —
грудой мглы полночной —
грозит, и глушит свет,
и смерть пророчит,
и тени распускает по воде...

Но солнце в сердце —
Радостью нежданной —
Пульсирует и жжёт.
И жизнь желанна,
Как непогожий этот
божий день!

Разодранная степь
так величава,
таким огнём облит
лесок корявый,
простор таким
свечением одет,
кладбище так
клокочет зелеными,
природа заживает
так упрямо,
что догадался:
смерти нет нигде!



Июньский ливень

Тук-тук... Стучат?

В лучах зари играют
На стёклах окон брызги летних гроз —
Июньский ливень смело убирает
Дневную пыль с каштанов и берёз.

Прошёлся по скамейкам в сонном парке,
Помыл аллеи светлый коридор
И дворникам — нечаянным подарком —
Очистил размалёванный забор.

Блестят машины, засверкали крыши,
Вся в лужах площадь - девственно чиста.
Тук-тук... Стучат!

Ужели ты не слышишь,
Как город наполняет красота?!

И птицы, небо с шумом покоряя,
Спешат подняться к первому лучу.
Ещё стучат?

Я в двери выбегаю:
Живой водой очиститься хочу!

Но, радуго оставив над пригорком,
Умчался дождь.

Уже не догоню...
Ему большую летнюю уборку
Закончить нужно к Троицыну дню.

В тумане

В верхушках деревьев запутались тучи
И стали на землю, тяжёлые, падать.
И вот вся округа в тумане кипучем:
Дорога, деревня и тихая заводь.



**ВАЛЕРИЯ
МАХЕНЬКО**

Поэзия



И воздух стал липким, густым и тягучим:
Ни ветра в долине, ни птиц щебетанья,
Лишь медленно с неба спускаются тучи,
Меня оглушив тишиной Мирозданья.

Я выйду с порога – как в облаке пены,
Летит в тишине голубая планета...
Вздохну, как Создатель над юной Вселенной,
И сердце наполнится благостным светом!

Был ветер...

Был ветер на моей щеке.
Он как любимого дыханье:
Вот здесь — и сразу вдалеке,
Миг — и уже воспоминанье.

Вдыхая запах чистоты,
Хотела всласть, до восхищенья
Изведать силу высоты
И — с ветром слиться на мгновенье!

А он уже летел к реке,
Простором неба наслаждаясь,
Гудел, свистел, входил в пике,
Сменив застенчивость на ярость!

Шумя, спустился на балкон, —
Моих стихов прочёл страницы;
Был бесшабашно весел он,
Как очарованная птица.

Щеки коснулся... И пропал,
Не попрощавшись, на рассвете...
Всего-то — ветер пролетал
И вдали меня с собою звал, —
Любви воспоминанье-ветер!



Ночь 31 мая

Май звенит соловьиными трелями
И листвою изумрудной кудрявится;
В нежно-розовом вихре метелями
Цвет вишнёвый в садах осыпается.

Бродит ночь незнакомкой по городу,
Как у Блока — загадочно-нежная;
Через окна открытые в комнату
Ароматы врываются свежие:

То акация вспыхнула сладостью,
То травую повеяло скошенной,
И в душе отзывается благостно
Песня редких дождинок непрощенных.

Ночь бессонницей губы мне высушит.
Темнота наполняется страхами:
Скоро утро забрезжит над крышами,
Всё исчезнет — и краски, и запахи.

Под лучами палящими, жаркими
Отцветёт и увянет стремительно
Это буйство жасмина с фиалками,
Эта роскошь лугов удивительных!

Куст пиона, медовый и приторный,
В танце ветра прощально качается...
Вся до капли весна маем выпита!

Утро.

Лето.

Жара начинается.

Снежная королева

Разбуди меня. Разбуди.
Растопи моё сердце взглядом.
Вместо льдинки пускай в груди
Соловьи поют серенады.

Где-то там, за порогом сна,
Королевство любви и ласки.
Отчего ж холодна весна
В этой грустной забытой сказке?!

Мой чертог замели снега,
Он укрыт от людей надёжно. —
Я забыть не могу пока,
Как меня предавали в прошлом.

Я не помню, что значит жить,
Как мечтают — давно забыла.
Не умею сейчас любить,
Помню только — жила, любила...

Но глубоко под толщей льда
Сердце дремлет и ждёт, мечтая:
Ведь смогла отогреть, смогла
Герда нежной любовью Кая!

Вот и ты меня не томи
И под вьюги седой распевай
Поцелуй скорей, обними,
Разбуди во мне королеву.

Чтоб понять волшебство тепла,
Я б весь мир отдала в награду!..
Приходи. Я ждала тебя
С васильковым июльским взглядом!



На рассвете

Глаза сквозь дрему приоткрыв,
Я пустоту наполню светом,
И тьму ночную яркий взрыв
Раскрасит радужным букетом.

Я краски с музыкой солью,
И будто жить начну сначала,
И солнца луч благословлю,
В котором музыка звучала.

Уходит ночи пелена.
Восход взлетает красногрудый!
И новый день, — весёлый, чудный, —
Готов вступить в свои права!

Расплескались...

Расплескались по каплям.
Розданы.

Разбазарены за пятак...
Друг для друга мы, милый, созданы,
А пошли с молотка, — «за так».

И не думали, и не чаяли,
Как страшна на миру молва!
— Ты скажи, мой друг, не большая ли
Назначается нам цена?!

Всё так просто и так естественно:
Выбор сделан. Осталось — жить.
Ради губ твоих безответственных
Навсегда судьбу изменить,

Жить твоими шальными мыслями,
Вместе праздновать, горевать,
И нанизывать буквы-бисерки,
Вышивая стихом тетрадь...

Но под нежностью пальцев ласковых
Сердце мечется, суетясь:
Небылицы цветными красками
Сочиняет толпа про нас,

До чужого несчастья жадная,
Наши чувства спешит разбить...
Только нет нам пути обратного!
Выбор сделан, осталось — жить!
Кто там, прячьась тайком за спинами,
Вслед мне камни кидает вновь?!
Кто злословил, — те нынче сгнули.
Остаётся — МОЯ ЛЮБОВЬ!!!



Дверь открыта — у дождя спроси,
Кем даются солнечные руки.
Осень начинается легко,
Одиночно только ударенье
В слове завтра. Подошло такси.
Ты спустился. Остывают звуки.
Отстают. Сбежало молоко.
Блики стёкол ухудшают зренье.
Щурюсь как разиня. Ротозей
Сматривает ввысь, прикрыв глаза ладонью.
Торопясь, песочные часы
Просыпают золото на площадь.
Не спеши, прошу тебя, глазами
Битый час, чтоб хорошо запомнить
Сотни стрел сияющих, косых
И стрелка, что, целясь, носик морщит.



**ЕЛЕНА
ГОНЧАРОВА**

Поэзия

Если бы мир знал,
Кто для меня ты,
Как он с тобой мал,
А без тебя стыл,
Чувствовал нутром
Жар, что во мне спит,
Был бы с тобой — дом,
А без тебя — скит.

Если бы извне
Мог увидеть кто
Свет, что даёшь мне
Изо дня в день, то
Стало бы очеви-
дно не найти у глаз:



В нежной твоей любви
Всё, будто в первый раз!..

Простые истины:
В дороге жданное.
Отныне мыслимо
Одно желанное.

Стремит, предчувствую,
На крыльях радости,
Чтоб уст — без устали —
Сладчайшей алости.

Чтоб сил распахнутых
И веры солнечной:
Нежнее бархата
Сердечней — кто ещё

Ко мне относится,
Созвучной, вторящей.
В ладони просишься —
Совсем сегодняшней.

Быть светом,
тождеством,
Приветной пристанью,
Я знаю, можешь ты —
Один-единственный!



У души не осталось
Теплоты напоследок.
Бесполезная жалость
Ковыляет по следу,
Как рысак по манежу,
Круга чувствуя тяжесть.

Снег доверчиво свежий
На прощание ляжет.

Подержи, чтобы лёгкий
Холодок стал привычным.

Ну какая рисовка, —
Улетаю, по-птичьи
Протянув в ледяное
Небо кроткое тело.

Только память стеною,
Чтобы билась и пела...

Молодость

I

Под льдинками на асфальте
Весна улыбается. Солнечно
И хрустко. Назначен пенальти
В ворота апреля. Просёлочны
Прогулки по звонкому городу.
Целуешь ладонные впадинки
И шепчешь:
— Эх, зелено-молодо:
Сто бед — ни ушиба, ни ссадинки!..

II

Садины да царапины —
Всё заживёт-затянется.
Юности мамо-папиной
Тоненький шов останется.

Дворики станут мелкими:
Дразнит апрель веснушками
Бабушек с посиделками,
Внучеков с погремушками.

Солнечноликим опусом
Выльется смех оттаявший,
Словно на целом глобусе
В душах людей проталины.

Дерзкой весенней ревностью
Сердце, как путой, скручено.
Грезит окно напевностью,
Плачет на поле чучело.

Мне б обучиться карканью,
Звукам не вторить песенным.
Мне б обучиться шарканью
Стёртых подошв по лестницам,

Только б твоей открытости,
Только б моей безбрежности
Мне не поверить в зыбкости
Дерзкой весенней нежности!..



Не потому, что чернота
К рассвету догрызает склоны,
Не потому, что на суконной
Скатёрке вытерты цвета
Цветочков, веточек, потерь,
Примет, исписанных листочков,
Я доживу до не теперь,
Строкой заведена за точку,
На жизнь и смерть разделена
Звучанием и тишиною...

Зимы страницами — страна
Черным-бела передо мною.

Я пью твой воздух в городе чужом.
Слегка пьянея — кто меня осудит —
Прилежно обвожу карандашом
Твой адрес. Мне подсказывают люди
Дорогу. Мне описывают дом
И палисадник: безнадёжно грозди
Стучатся прямо в двери, где замком
Не пользуются, потому что гвозди
Забиты в полость медной ручки.

Смех

Меня спасает. Говорю, что шутка,
Что превосходно помню обо всех
Гвоздях, о почерневших промежутках
Оконных, о несмазанной, кривой
Калитке, о крапиве на ступенях
Крыльца...

В ответ качают головой
В знак порицанья и недоуменья.

Девочка — по лучику —
Над разверстой бездною
Проносила лучшее,
Всем не бесполезное.

Пошатнётся-ойкнется —
Страшно ей, но счастливо.
За уставших молится —
Позабыть печали им.

За больных и плачущих,
За немых и брошенных —
Девочка в светящем
Платьице — из прошлого

В нынешнее — робкая,
Но на счастье зоркая.
К нам — лучистой тропкою,
К нам — весенней зорькою...



На круги своя

«Как можно рассказать свою жизнь? Столько всего, что и не знаю, с чего начать», — задумывается Ольга. Мы сидим в тихой просторной комнате женского филиала реабилитационного центра в городе Михайловске, знакомимся. Этой молодой женщине с красивыми глазами-самоцветами не дашь больше двадцати: нежная кожа, мальчишеская стрижка. И никак уж не скажешь, что она — бывшая наркоманка! «Да вы посмотрите мои старые фотографии! Никто не верит, что там — я!», — улыбается девушка. Действительно, кажется, что на фото запечатлён совершенно другой человек. Ведь первое, на что обращаешь внимание, — это выражение лица, и — глаза. У женщины из прошлого на лице разочарование и глаза усталые, погасшие. А эта, что рядом со мной, сияет, будто её душа светится изнутри. Вижу на одном из снимков хорошенькую черноглазая девочку в красивом платье: «Кто это?». Оказывается, есть у Оли чудесная десятилетняя дочь Маша. И она постоянно звонит маме по любому поводу: зуб ли вырвали или туфли бабушка купила.



**ЕЛЕНА
АНОХИНА**

Публицистика





Раз уж контакт налажен, начинаем разговор сначала, — про жизнь. «Родилась в Невинномысске почти тридцать лет назад, — открывается повесть. — Появилась на свет желанной, в благополучной и полной семье: папа, мама, старший брат».

Хороший отец у Ольги — добытчик, как и положено настоящему мужчине. На все руки мастер, работал он везде, чтобы должным образом обеспечить семью: и столяр, и слесарь. Но маленькая Оля всегда тянулась больше к маме, а той тоже постоянно не было дома (в те времена все должны были работать). Старшему брату надоедало постоянно возиться с сестрёнкой, и он убегал к друзьям при малейшей возможности. Оставался малышке огромный родной двор, где ей всегда были рады. «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денёк, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором...», — знаете, когда слышу эту песню, сразу ностальгия по прошлой жизни накатывает. Ведь наш двор — это особый мир, где и вправду постоянно ходили друг к другу в гости, — вздыхает наша героиня. — И слова такого не подберёшь, насколько сердечными, тёплыми были отношения. Потом, как водится, все разъехались. И я всю жизнь хотела вернуться на круги своя: будто искала таинственную дверь, как в старой сказке Андерсена. Когда переехали в другой район, встретила двоих таких же, как сама, неприкаянных, и мы стали строить свой мир».

Но в мире том уже не было прежней гармонии. Встречались, бродили, ходили на Кубань купаться подальше от людей — один из новых знакомых стеснялся полученного в аварии шрама. Тогда, с этой аварии, всё и началось. «Кайф» от наркоза и табле-



ток пострадавшему понравился, и требовал адекватной замены. Поэтому дружная троица довольно быстро пристрастилась к анаше, и потекла иллюзорная жизнь со своими радостями, заключающимися в уходе от неё же. С одним из ребят, Арменом, сложились более тесные отношения, и однажды, когда Ольга в очередной раз поссорилась с родителями, он сказал такие красивые слова: «Настанет такое время, когда я заберу тебя навсегда». Она стала ждать, когда оно придет, это счастливое время. Но сначала любимого посадили, потом он ушёл в армию. Невеста, вопреки общественному мнению, верно ждала своего солдата: старательно училась в техникуме и сидела дома – ни тебе девичников, ни дискотек. Ради него шла на любые жертвы: не нравится Армену подруга, с которой она выросла – что ж, нужно с той расстаться. Ведь этот мужчина теперь хозяин её судьбы, с ним Ольга собиралась встретить старость. Только родители не благословляли этот союз, не нравился им будущий зять.

Потом была пышная свадьба, и, как положено, первая брачная ночь. Все так красиво, романтично! Через короткое время, когда Оля была на втором месяце беременности, муж молча собрал вещи, и, ничего не объясняя, ушел от неё навсегда. Красивые слова его оказались всего лишь словами.

Как она пережила это тогда, в двадцать лет? Желала ли ребенка, которого носила под сердцем? Многого Ольга не помнит, таким огромным было потрясение. Но видится одно: ночью её будили женщины, лежащие в палате на сохранении рядом, потому что она громко плакала во сне и била себя по животу. «Мне было так обидно за себя: у меня украли любимого! Была, оказывается, женщина старше меня, которая его переманила. Но соседки по палате посоветовали: «Оставь всё как есть. Будь выше, и



когда-нибудь ты благословишь его уход». И действительно, теперь я благодарна этому человеку за дочь и за то, что он навсегда ушел из моей жизни. Встречаемся как друзья — давно всё отгорело, отболело».

Дочь... Оля и не знала, как беззаветно будет любить это крохотное существо с глазками-сливами, пока чуть не потеряла её. Так случилось, что после ссоры с отцом, которого всё время раздражал плач младенца, она ушла из дому жить к подруге. От стресса пропало грудное молоко, а резкая смена питания вызвала у грудничка обильный стул и обезвоживание. Когда приехала «Скорая», тоненькие вены восьмимесячной девочки лопались под иглой, ещё бы сутки... «Было страшно, когда Маша, такая маленькая, плакала за дверью реанимации. Тогда я поняла, что дороже дочки у меня никого нет».

Время лечит душевные раны, и однажды встретила Ольга замечательного парня. Было это на черноморском побережье, и виделись они только один день, но говорили, говорили... Будто сошлись наконец родственные души, и не могли выговориться. Долгие пять лет прожили вместе, и хорошего было много за это время, и плохого. Довольно скоро Оля стала замечать что-то ненормальное в поведении Виталия — тогда он только начал колотиться оттого, что никак не мог найти себя. Шла перестройка. После тюрьмы (по молодости подделал накладные) вышел Виталий, а его бизнес, знакомства — всё кануло в Лету. В тридцать три года хотелось иметь свое дело, семью, покой, но ничего, абсолютно ничего не получалось: бездушное безбожное общество не прощает падений. И человек нашёл свой способ ухода от действительности: наркотики давали душевную лёгкость, освобождали от ответственности за свою жизнь, необходимости задумы-



ваться о будущем. Ольга стала бороться за него: любила она, как и жила, с открытым сердцем и всему верила. Когда Виталий «перекидал» полгорода и не стало семье покоя ни от милиции, ни от кредиторов, под покровом ночи они, как воры, сбежали из Невинномысска. В Пятигорске состоятельные родители мужа купили им квартиру и всё время помогали материально.

В чужом городе не было работы, друзей. Но одно радовало: Виталик, тяжело «перекумарив», перестал колоться. В это время было ему так тяжело, так плохо, что частенько посреди ночи уходил и ложился на холодный пол в кухне. Она сворачивалась в клубочек под боком и слушала, слушала его рассказы: как жил раньше, как сидел в тюрьме — что там и как. «А как там?» — «Да, как и везде: люди создают искусственные проблемы, которые потом сами же и решают». Он много занимался с Машей, учил её читать, писать — словом, был настоящим папой, девочка и выросла на его плечах. Все были счастливы, кроме родителей Оли, которые предостерегали: «Что ты делаешь, не видишь — он же наркоман! Смотри, сама не попади в это болото!» Вскоре их опасения сбылись, и на своём опыте испытала дочь, какая же это коварная болезнь — наркомания. Стоило Ольге уехать на три дня (нужно было ухаживать за матерью после тяжелой операции), как Виталий сорвался. Просто встретил знакомого, который раньше тоже имел всё (был барменом в гостинице «Интурист»), а потом потерял — его неожиданно уволили. Парень чувствовал себя выброшенным за борт корабля под названием «Удача», и страшно переживал, тщетно пытаясь найти достойную работу в родном маленьком курортном городе. От бессилия что-либо изменить в своей жизни и начал колоться: в общем, встретились два



«одиночества». Какая-то заевшая карусель получилась, когда «села на иглу» и Оля. «Виталику и его друзьям нравился наркотик, они за него всё были готовы отдать. Я видела, что в очередной раз, как карточный домик, рушится моя семья, и рассуждала так: «Я сильная, и он меня любит. Вот “подсяду”, он увидит, как мне плохо и сразу бросит эту гадость!» Но наркотик действует на всех одинаково, несмотря на благие намерения. И единственное средство не заболеть зависимостью — быть от него подальше. Не пробовать.

Однажды муж не пришёл домой ночевать. Когда позвонила мать, Оля, вся в слезах, кричала ей в трубку: «Мама, я так больше не могу!». Утром приехали родители, и на этом закончилась мучительная семейная жизнь. Но мир в видении молодой женщины уже искажился, как в кривом зеркале.

Не зря говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Вроде и вернулась она в родной город, но там-то за пять лет всё изменилось: друзья и знакомые женились, вышли замуж, устроились и жили своими интересами. «А я осталась, как ненужный овощ на грядке. От обиды за упущенные годы захотелось всё наверстать — и сразу!», — объясняет Ольга свой приход в наркобизнес. Калейдоскопом замелькали в новой жизни милиционеры, трассовые девчонки, смотрящие, бизнесмены. И если среди уголовников она видела хоть какие-то «понятия», то в мире бизнеса какие-либо моральные ограничения вообще отсутствовали: уничтожать так уничтожать, топить так топить. И она стала использовать людей, никого не щадя.

Потом был суд. От заключения спас малолетний ребенок — дали три года с отсрочкой. Родители, узнавшие на суде о наркотиках, пытались спасти дочь: отправили в частную наркологическую клини-



ку на Кубань. Но при клинике не было реабилитационного центра, и, вернувшись, Ольга опять начала колоться. Мать с отцом забрали внучку к себе: из-за перепадов в настроении матери девочка стала раздражительной, часто плакала, стала хуже учиться. Саму Ольгу, отчаявшись, повели на прием к православному психологу. «Я очень благодарна за это маме, ведь тогда что-то перевернулось во мне, — вспоминает она. — После тестирования психолог дала чистый лист бумаги, и попросила: «Посередине напишите: «Я», а вокруг — имена тех, кто сейчас рядом с вами». Я смогла написать только два слова: «дочка» и «мама». Остальное — пустота. Она, увидев это, посмотрела на меня с таким сожалением! И громко, внятно произнесла: «Бог. Муж. Дети. Родители. Друзья. Работа». Когда душа моя опять заболела, я вспомнила, что первым она назвала Бога, и попросила маму сходить со мной в церковь».

Там на двери висело объявление: «Спасо-Преображенский центр реабилитации наркозависимых примет в дар стиральную машинку».

Это объявление было для Олиной матери как удар молнии. Она стала ходить на собрания центра, беседовать со Станиславом Горяиновым, его руководителем в Невинномысске. Ольга же не вникала, что это за центр и зачем он ей нужен. Сколько сил потратил Стас, как боролся он за этого человека! Разговаривал с ней и Николай Новопашин, когда приезжал из Ставрополя. Многоопытные ребята видели перед собой обычную наркоманку, что оскорбляло женщину: ведь она ценила себя по собственной градации гораздо выше. В конце концов гордыня победила: разругалась с обоими, и, махнув рукой, собралась уезжать на заработки в Москву. Мать, услышав это, упала на колени и разрыдалась: «Не уезжай!» Оля кричала на неё: «Ты что, вообще приболела? Мне не



нужны жертвы, мама, я не хочу туда!» На мой вопрос, почему она так сопротивлялась, визави ответила так: «За последние годы я разучилась доверять людям, а здесь нужно было довериться и круто изменить свою жизнь. Было страшно ступить на незнакомую почву, не проверив всё заранее». Но мать так плакала, так просила свою неразумную дочь попытаться спасти свою душу, что та закрыла глаза на свои страхи, и стала готовиться со Стасом к реабилитации. Перелом произошел, когда однажды прочла молодая женщина в Евангелие (Мф.5:3-12) о заповедях блаженства: что нищих духом, миротворцев, кротких, смиренных примет Господь. Слова эти потрясли её. «Но ведь и я когда-то была кроткой, смиренной! И я умела прощать, была миротворицей, пока это жуткое зло не вошло в мою жизнь!» — досадовала Ольга, готовая теперь отвоевать себя, прежнюю, у Сатаны, коварно пробравшегося в душу. Так открылись её глаза. В Священном Писании для каждого из нас найдется особое слово, нужно только открыть его.

В конце июля 2005 года Ольга стала первой из зависимых женщин реабилитационного центра. Болела и всё время просила братьев и сестёр помолиться за неё: во время молитвы становилось почему-то ощутимо легче. Особенно благодарна она Анатолию Панкову, который стал ей поистине родным человеком. Брат сидел с ней иногда до трёх часов ночи, спасая от бессонницы и депрессии и рассказывал о Боге. Сам Анатолий вспоминает: «Ольга была словно чистый лист, на который благодатно ложилось каждое Божье слово. И видно было, как она оживала на глазах, и благодать сходила на мятущуюся душу».

«Когда я стояла перед иконостасом во время молитвы, то так дрожала, что с меня семь потов



сходило, и всё время хотелось сбежать. Вот когда человеку нужно взять всю свою волю в кулак и выстоять. Кроме того, мучительно хотелось курить, — свидетельствует Ольга. — И каждый, кто находился тогда рядом со мной, старался помочь хотя бы советом. Ведь насколько мы здесь разные, настолько и одинаковые. Просто одни прошли этот путь раньше и могли поделиться опытом в надежде, что ты почерпнёшь что-то для себя, и станет легче. Причём не только в плане телесном: для любого брата, сестры твоё пробуждение к Богу — это самая большая награда».

Когда в обитель приехала следующая девочка, атмосфера братства сказалась и на Оле: она почувствовала перед новенькой такую огромную ответственность, будто могла одним своим примером помочь ей. И целую неделю новенькая пробыла в благодати, хорошо себя чувствовала, но потом на службе в местной сельской церкви неожиданно сорвала с себя крест, будто что-то тёмное душило её, и начала рыдать. При этом всё тело её содрогалось, так выкручивали эту девочку бесы. «После этого ее так «закумарило»! — вспоминает Оля. — И я спросила братьев: почему так случилось?» — «А ты за неё молилась?» — «Ну, как бы так, особо и не молилась...» — «Ну, ты сама ещ слабая!», — таким был ответ. А когда я горячо помолилась за сестру, то будто часть её боли взяла на себя, и меня снова так закрутило... И рвота началась, и суставы на ногах выламывало — всё, всё по новой... Зато девочка пошла на поправку. Поэтому-то именно мы нужны здесь, в центре: ведь тот, кто сам не пережил ломку, не может так эффективно помогать другим людям. Наркомания — это даже больше, чем обычная болезнь типа гриппа или ветрянки. Это — внутреннее состояние, другое измерение». Так вот началось

ее служение, заключающееся в реальной помощи сестрам, в молитвенном труде ради их исцеления. «Олино сердце всегда открыто для нас», — сказала мне одна из обитательниц реабилитационного центра.

Метания её, наконец закончились, и от внутреннего спокойствия засияли глаза, заискрилось улыбкой лицо. Радуетесь Ольга и успехам дочери: та теперь лучшая ученица в гимназическом классе. Но настоящее счастье испытывает мать оттого, что в прошлом году Маша пошла в воскресную школу: ведь теперь с её девочкой всегда будет Господь. «Может, и меня Он пожалел только ради того, чтобы дочь познала Его животворящую силу, — говорит наша героиня сквозь слёзы. — Хочется, чтобы через неё пришли к Богу и брат, и отец, который теперь так дорожит единственной внучкой. Знаю, что только с верой всё может вернуться на круги своя, и часто представляю, как возвращаюсь домой, открываю дверь, а там невыразимо тепло: вернулась любовь, которой в родительском доме мне так не хватало. И хотя сейчас я не могу быть вместе с дочкой, но своими молитвами всегда буду незримо поддерживать её, маленькую мироносицу. Только бы самой удержаться, только бы выстоять! Смогу ли я, даст ли Господь силы?»



Война и дети

Эту историю в своё время документально исследовал председатель Международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов и, разыскав на Ставрополье, в Ессентуках, Зинаиду Дмитриевну Колганову, пригласил в Москву на Международный съезд добровольцев, посвятивших себя работе с детьми.

Позднее в Колонном зале Дома Союзов ей вручили Золотую медаль Детского фонда и объявили лауреатом премии «За признание заслуг организаций и частных лиц в деле защиты детства». Зинаида Дмитриевна стала единственной в России женщиной, удостоенной этой награды. Когда Лиханов рассказывал о её подвиге, зал плакал. Тогда, в 1942-м, ей было шестнадцать.

Родилась Зина в Георгиевске в простой крестьянской семье. Воспитывалась у бабушки. Хулиганкой не была, но характер имела бойкий, своенравный. Со школой не поладила сразу — два года просидела в третьем классе, два — в пятом, а потом, в пятнадцать, забросив учебу, устроилась в Георгиевский детский дом секретарём.

3 августа 1942 года директор собрал сотрудников и объявил:

«Товарищи! Немцы совсем



**АЛЕКСЕЙ
КРУТОВ
ОЛЕГ
ПАРФЕНОВ**

Краеведение





близко, предписано эвакуироваться в Туркмению. Выходим завтра на рассвете».

Нагрузили восемь подвод самым необходимым — продуктами, водой, одеждой. Но в последний момент воспитатели и нянечки решили остаться. Убеждать никого не стали, да и времени не было. Так в сопровождении директора и Зины 95 детдомовцев покинули город. Самых маленьких усадили на подводы, остальные — пешком. На следующий день Георгиевск бомбили; в небе кружили немецкие бомбардировщики — война шла по пятам.

У станицы Зольской обоз едва не столкнулся с колонной немецких танков, чудом успев скрыться в лесу. Страх гнал вперёд, дальше и дальше от родных мест. До Моздока не дошли — добежали.

На окраине города остановились передохнуть. Вскоре к стоянке походного детдома подъехали наши военные и велели немедленно уходить.

Поднялись как по тревоге. Ответственный за эвакуацию директор отобрал ребятшек постарше, велел садиться на подводы, крикнув Зине:

— Прыгай на линейку скорей, дурёха, немец в спину дышит! Жить хочешь?!

— А малыши как же?! Пропадут...

- Их не тронут!

— Да как же...

Пролётка вместе с директором унеслась. А Зина осталась за старшую. Расставила детей по парам и повела в направлении Грозного.

До Грозного не так далеко, но пешком под палящим солнцем, без воды и еды, под бомбёжкой путь показался адом. Неожиданно дорогу преградили зелёные военные машины; оказались наши. Навстречу выскочил офицер, подбежал к голове колонны:

— Кто тут старший, мать вашу?!

Зина сделала шаг вперёд.

— Объясни, что происходит?! Кто детей ведёт, спрашиваю?!



— Я веду.

Офицер в онемении уставился на Зину. Голос его дрогнул:

— Доченька... Всем сегодня тяжело: и старикам, и молодым... Со мной вот 29 девочек из Прикумского детдома, мы их больше возить не можем, у нас другие дела...

Они пойдут с вами. Таков приказ. Назначаю тебя... комиссаром.

За спиной офицера истошно просигналила машина, размахивая руками, что-то кричал шофёр. Бойцы уехали, а Зина повела изголодавшихся, оборванных детей дальше, в Махачкалу. В пути питались травой, листьями, корой деревьев.

Кто-то потерял обувь, Зина отдала свою. Перегревшись, дети падали в обморок. Отхаживали как умели: укрывали от солнца лопухами, дышали в рот. Совсем измученных и ослабевших несли на себе.

От Махачкалы на гружённом металлоломом товарняке добрались до Баку. Там, чтобы переплыть на другой берег Каспия, предстояло попасть в эвакупункт и получить пропуск на паром. Город гудел разношёрстной, раздражённой многотысячной толпой — здесь, в ожидании отправки в безопасное место месяцами томился народ со всего Союза.

Протиснуться к эвакупункту было невозможно — бежавшие от войны люди не давали проходу никому, кто пытался пролезть без очереди. Как Зина сумела добраться до дверей эвакупункта, не помнит, только потом ещё долго ощущала, как остро ломит тело от пинков и ударов.

Понимая, что другого шанса накормить и увести детей дальше от войны у нее не будет, Зина вцепилась в ручку кабинета начальника эвакупункта и пронзительно закричала. Когда дежурный милиционер попробовал оттащить её в сторону, она так сжала кулаки, что на ладошках от ногтей проступила кровь.

На жуткий крик выскочил начальник эвакупункта:



— Что происходит, чёрт возьми?! — громогласно проревел он, обращаясь к Зине.

— Откуда ты свалилась на мою голову?

— Из детского дома, из Георгиевска.

— И где же вас носило больше месяца?! За это судить надо! Почему так долго ехали?!

— Мы пешком, — Зина едва держалась на пораненных, окровавленных ногах.

Только тут старший эвакопункта заметил, что перед ним стоит ребенок... полностью поседевший.

В кабинете за огромным столом буквой «Т» в белых рубашках при галстуках, утирая накрахмаленными платочками пот, сидели люди. Начальник эвакопункта, военный крепкого телосложения, подхватил на руки истощенную, заплаканную, в изодранном платье Зину, как пушинку приподнял её:

— Посмотрите на эту девочку. Дитя привело детей! А вы — предатели!!

Вместо восемнадцати часов по графику до Красноводска плыли шестеро суток. Нещадно палило солнце, закончились запасы еды. Ни Наркомфин, ни Наркомпрос Туркменской ССР на питание детей не выделил ни копейки. Но хуже всего — не было пресной воды.

Посреди моря на пароход налетел немецкий бомбардировщик: кругом водная сверкающая гладь и, как на ладошке, одинокое судёнышко — удобная мишень для гитлеровских асов.

Немцев зенитчики отогнали, но в испуге детишки начали метаться по палубе; пытаясь спрятаться от разрывающего душу рева пикирующего самолета, несколько ребят бросились за борт. Спасли всех. Когда на корабль подняли последнюю девочку, с Зиной случился удар — в беспомощности она рухнула на палубу.

Очнулась в душном кубрике от страшной жажды, в голове носилась одна-единственная мысль: «Больше не выдержу, умру». Спас Зину детдомовец,



девятилетний Костя Чевичев — принёс полную кружку воды. Где раздобыл, не сказал, но скорее всего, украл из неприкосновенных запасов судовой команды.

...От Красноводска до туркменского городка Чарджоу добирались трое суток в вагонах, из которых только что выгрузили раненых лошадей: на жаре под пятьдесят, дышать нечем, вместо подстилки — навоз.

Только к концу сентября по великой азиатской реке Амударье попали в Кирки, селение на границе Туркменистана и Ирана.

Встречать детский батальон вышли все местные жители. Кто-то из чиновников распорядился никого из пассажиров на берег не пускать: для торжественного приёма вот-вот должен прибыть оркестр. Ещё несколько часов измученные, голодные детдомовцы томились на барже, но музыканты так и не появились.

Когда дали команду спускаться на берег, многие не могли самостоятельно подняться; выходили, поддерживая и помогая друг другу.

Поселили детей на погранзаставе, растопили баню, для ночлега приготовили матрасы, подушки, простыни. На праздничном столе, накрытом белоснежными скатертями, расставили тарелки с крохотными кусочками хлеба да солдатские миски, доньшко которых едва прикрывал суп.

Наблюдавшие за детьми медики не сдерживали слёз: «Миленькие вы наши, простите, но нельзя вам помногу есть. Потерпите немного, совсем чуть-чуть...»

Едва попали в Кирки, Зина сразу слегла в больницу. Вышла оттуда через семь месяцев инвалидом второй группы.

— Как только отпустили врачи, выскочила на улицу в одном летнем платице — ничего другого и не было, — вспоминала Зинаида Дмитриевна. — Бреду, сама не знаю куда, а холод жуткий, даже



снежок срывается. Вижу, навстречу мне — колонна ФЗУшников, и откуда-то из серединки выскакивает Любочка Кречетова, воспитанница нашего детдома, бросается мне на шею: «Тетя Зина, родненькая, возьмите мой бушлат», стягивает его с себя... Боже, как будто вчера было...

Судьба Зинаиду Дмитриевну не баловала. С мужем прожили недолго — развелись. При исполнении служебных обязанностей погиб единственный сын Вячеслав, офицер ракетных войск. Вскоре умерла невестка.

В 2005-м, когда мы встретились с Зинаидой Колгановой, ей исполнилось восемьдесят. Но сколько мужества, воли и достоинства было в этом человеке! Каким же запасом душевных сил надо обладать, чтобы эти высокие качества пронести в себе через всю жизнь, полную драм и трагедий!

Да, такие не отступают. И не сдаются.

Как и взрослых, советских детей в годы войны насильственно угоняли в Германию. По данным Нюрнбергского процесса, из СССР в Германию во Вторую мировую было вывезено 4 миллиона 979 тысяч человек. Среди них — мальчишки и девчонки, у которых навсегда украли детство, искалечили жизни.

Сколько несовершеннолетних было угнано во время Великой Отечественной войны в Германию, точной статистики нет. Тем не менее, известно, что на 1 марта 1946 года были репатрированы, то есть возвращены в Советский Союз, 3 миллиона 527 тысяч гражданских лиц. Из них около 20 процентов — подростки и дети.

Нацистская идеология не предусматривала послаблений в зависимости от пола и возраста. Наравне со взрослыми дети работали на заводах вермахта, становились инвалидами, умирали от непосильного труда, голода, холода. На оккупированных территориях детей вместе с родителями бросали в тюрьмы и концлагеря, пытали, расстрели-



вали, уничтожали в душегубках, заживо хоронили.

Масштабы эвакуации с первых дней войны были огромны. Согласно докладной записке Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1941 года, по неполным данным, было эвакуировано более 255 тысяч детей, большая часть которых — воспитанники детских садов и домов, учащиеся школ-интернатов, пациенты санаториев и лечебных учреждений.

Нередко спешность эвакуации приводила к халатности и безответственности со стороны её организаторов. Отправляясь в дальний путь без сопровождающих, в местах эвакуации дети теряли связь с родителями и близкими, не только на годы войны, но и на мирные десятилетия — история знает множество подобных фактов.

Тяжёлая обстановка не позволила завершить создание правовой базы по устройству детей-сирот. Лишь в январе 1942 года было принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».

Так, при переезде в другую местность не допускалось оставление детей безнадзорными. Государство поручало местным органам власти оказывать всяческую поддержку приёмникам-распределителям, а также семьям, принявшим на воспитание детей. Для борьбы с детской безнадзорностью в краевых и областных органах НКВД назначали специальных работников.

В целях «оказания помощи родителям и родственникам в отыскивании отставших от них детей» были созданы справочно-адресные детские столы — центральный, а также при областных, краевых, городских и районных управлениях и отделениях НКВД. Однако в последовавшем 25 сентября постановлении СНК РСФСР «О выполнении постановления СНК СССР от 23 января 1942 года» отмечалось его неудовлетворительное исполнение в большинстве областей, краёв и автономных республик.



Уже в начале войны край принял тысячи переселенцев из Ленинграда, городов и сёл Украины. А спустя год надёжный тыл стремительно стал превращаться в арену военных действий. Снова встал вопрос эвакуации детских учреждений уже с территории Северного Кавказа.

О трудностях можно судить по докладной записке от 25 ноября 1942 года уполномоченного народного комиссариата просвещения РСФСР, заводделом народного образования Орджоникидзевского крайисполкома Н.Н.Щепина наркому просвещения РСФСР В.П.Потемкину и председателю Орджоникидзевского крайисполкома В.А.Шадрину.

Из всех эвакуированных детских домов края выехать поездом смогли только Ворошиловский детдом, Ворошиловские школы слепых и глухонемых, Ростовская школа слепых и Кизлярский детдом. Все остальные детдома, в силу сложившейся обстановки, 600-900 километров до Махачкалы вынуждены были идти пешком, погрузив продукты и обмундирование на подводы.

Далее эвакуация шла через Краснодарск в среднеазиатские города Ташкент, Фрунзе, Фергану, Чарджоу, Семипалатинск, в западносибирский Барнаул. Из 36 детских домов и 7 спецшкол Орджоникидзевского края этим путём прошли 27 детских домов и 4 спецшколы. Всего же с территории Северного Кавказа смогли эвакуироваться около ста детских домов общей численностью более 13 тысяч человек.

«Не успели эвакуироваться и остались на месте Симферопольский (в Невинномыске), Машукский, Кисловодский дошкольные, Криворожский и Петровские школьные детские дома. Неизвестно, куда направились и где находятся Нижнеархызский школьный и Григорополисский детские дома, вовремя вышедшие из районов.

Как установлено через воспитанников и отдельных работников детских домов, эвакуировались, но по дороге были рассеяны десантными немецкими частями Изобильненский, Черкесский и Нижнетет-



бердинский детские дома...» — подводил итоги эвакуации Н.Н.Щепин, не располагая сколько-нибудь точными данными.

Увы, ясности нет до сих пор.

Судьба многих воспитанников детских учреждений, оставшихся на оккупированной территории, оказалась трагична. Некоторые умерли от болезней и истощения, других казнили.

Об одной из трагедий, разыгравшихся в горах Северного Кавказа, рассказал чудом выживший Мирон Зиновьевич Кессель, известный детский врач.

В середине сентября 1941 года, когда гитлеровцы вторглись в Крым, началась спешная эвакуация детских здравниц. Вглубь страны направились санатории «Южный», им. Н.К.Крупской, им. Красных партизан, «Бобровка» и десятки других. С болью в сердце родные стены покидали дети, врачи, медсёстры, нянечки, педагоги, воспитатели. Вместе с ними уезжали и родители, чьи дети находились на излечении в Крыму.

После долгих изнурительных дорог, под обстрелом, эвакуированные прибыли на Северный Кавказ, в неведомую им Теберду. Вскоре к ним присоединились питомцы детского санатория «Ромашка» из Ростова и других здравниц. Всех разместили в просторном санатории «Домбай», на многие месяцы ставшего родным домом для детишек и взрослых из Мурманска и Ленинграда, Москвы и Киева, Ташкента и Львова, Минска и Краснодара.

Стояла мягкая осень, вокруг шумели великаны-сосны, воздух был напоён запахами горных цветов. Врачи заботливо осматривали своих маленьких пациентов, измеряли температуру, делали процедуры и перевязки, воспитатели водили на прогулки, стараясь заменить мам и пап. Как в мирное время, в Теберде работала школа, учителя старались не отставать от учебного плана.

Между тем пламя войны неумолимо двигалось на



восток. В середине августа 1942 года части дивизии «Эдельвейс», обученные для боевых действий в горах, вошли в Теберду.

Накануне несколько мальчиков и девочек старшего возраста, которые могли самостоятельно передвигаться, решили покинуть «Домбай». В одну из темных ночей они двинулись в далекий и опасный путь через Клухорский перевал.

Многие шли на костылях, с палочками, в гипсовых повязках и корсетах. Жажда жизни звала вперёд. Вёл детей хорошо знавший дорогу местный житель, бухгалтер поселкового исполкома Борис Семенович Зарахович, в Первую мировую побывавший в австрийском плену, откуда, к слову, привез немку жену.

Дорога день ото дня становилась труднее, вечерами дули пробирающие насквозь ветры, полил дождь, вершины покрылись снегом. Питались лесными ягодами, спали под открытым небом. Эта одиссея больных мальчишек и девчонок длилась две недели, дети проделали двухсоткилометровый путь и благополучно вышли в Сухуми. Больных, истощённых беженцев приняли сотрудники эвакуопункта.

Когда немцы нагрянули в санаторий, первым делом они разграбили продовольственный склад, забрали медикаменты, перевязочные материалы, подушки, одеяла. Для детей и взрослых началась борьба за выживание.

Все, кто мог передвигаться, отправились в лес за ягодами, грибами, дикими фруктами, кореньями. В поисках картофеля или кукурузного початка копались в оставленных местным населением огородах. Рано ложились спать, желая во сне забыть-ся от нестерпимого чувства голода.

В один из декабрьских дней у санатория «Пролетарий» показали немцы и потребовали списки всех евреев, а также детей, чьи родители коммунисты и политработники Красной армии. Понимая, чем это грозит, медики пытались скрыть национальность ребят, но спасти обречённых ничто уже не могло.



Вот одно из свидетельских показаний детей:

«Ординаторы наших корпусов, которые вместе с сёстрами, непосредственно составляли требовавшиеся списки, были в подавляющем большинстве своём евреями, и почти все наши врачи тогда оставшиеся были евреями, и они боялись не только противоречить кому-либо при немцах, но и вздохнуть громко.

Они думали, что чем честнее они будут делать требуемое, тем больше шансов на то, что их не тронут. Они ходили по палатам и спрашивали, кто какой национальности, какого года рождения... А ходячие больные сами заходили к ним в кабинеты и рассказывали о себе всё, что требовалось».

Имена некоторых медиков и стали известны благодаря рассказам детей.

«Немецкие врачи в санатории сразу же провели селекцию, — рассказывал очевидец происходящего Олег Курихин. — Нас рассортировали на три группы: евреи, дети коммунистов, прочие. Я оказался во второй группе... Вторую группу отделили от третьей.

Нас ежедневно посещали врачи, часто брали кровь, и мы этого очень боялись. Время от времени кого-то уносили, и нас оставалось всё меньше.

На первых этажах лечебных корпусов расположились немцы. У них по ночам горел свет, было весело, играла музыка. Днём нас кормили, но плохо, а по вечерам, когда мы тревожно засыпали, медсёстры приносили что-нибудь вкусненькое, ласкали нас, говорили добрые слова, целовали...

За время оккупации нас ни разу не помыли, и под гипсом у меня завелись паразиты. Я стучал кулаками по своей скорлупе, и они переползали к ногам.

Помню, несмотря на голод, я рос, и мне стало тесно в гипсе. Позже выяснилось, что в этом коконе мои рёбра неправильно изогнулись...

Медсёстры учили нас копить днём в марле мочу, чтобы, если окажемся в «душегубке», дышать через неё. Мы послушно выполняли их указания. Позже я



узнал, что эта предосторожность не спасла бы нас.

В сущности, всем нам была уготована участь подопытных кроликов, но мы верили в спасение».

В ночь на 11 декабря к здравнице подъехала закрытая машина. Завоеватели и их приспешники — полицаи стали вытаскивать детей из кроваток и швырять в «душегубку» — перебинтованных, в гипсе, на костылях. Большинству было по пять-семь лет.

Среди них, вспоминал Мирон Кессель, оказались и всеобщие любимцы брата Шлейман, шестиклассник Серёжа и дошкольник Илья. Трагедия разворачивалась прямо на глазах у обезумевшей от горя матери, врача Елизаветы Ильиничны. Она рыдала, кричала, умоляла о пощаде, не зная, что разделит участь своих детей.

Дверь машины захлопнулась, и она покатила на окраину Теберды, к ущелью Гончахира...

Эти строки оставила поэтесса Вероника Тушнова:

*Ребенок в гипсовой кровати,
Чуть шевеля запавшим ртом,
Мне повторит спокойно, кратко,
Не обстоятельно о том,
Как их, детей, согласно списку,
В последний отправляли рейс,
Те, из дивизии альпийской
С названием странным «Эдельвейс».
...Вблизи моста, где стынет мгла,
Где даже в зной темно и сыро,
Швырнули детские тела
На дно ущелья Гончахира.*

Через неделю трагедия повторилась.

Выжившие юные пациенты А. Нестеров и Аджигирей, после войны ставшие студентами Карачаево-Черкесского пединститута, вспоминали:

«И вот 22 декабря в три дня подъехала какая-то особая автомашина, — огромная, чёрная, крытая.



Она подкатила к «еврейскому» корпусу. Из кабины вылез немец и открыл, раздвинул две половинки задней стены машины. Другие немцы, сопровождаемые главврачом С.И.Байдиным, пошли наверх. Приказали они идти и дяде Ване, нашему санитару. Он и рассказал нам под большим секретом, что произошло дальше.

— Ну, ребята, сейчас мы повезём вас в Черкесск, — сказал Байдин. — Бери, Ваня, неси...

— Дядя Ваня, — со всех сторон закричали малыши, — меня берите, меня! Я хочу в Черкесск.

Дядя Ваня заплакал от жалости к ним, ведь он понимал, куда их повезут, но немцы были рядом и уже покрикивали: «Шнель, шнель!..» И сами хватали ребятшек, а были там совсем малыши — по три-четыре годика. Были и старшие — до восемнадцати лет...

Когда ребят укладывали в машину, немец приказывал класть их штабелями вдоль стен, чтобы середина машины оставалась пустой. Наконец понесли последнего больного, и он сказал:

— Дайте мне одеяло, ведь я замёрзну там.

— Принесите одеяло! — сказал немец подвернувшейся сестре. Та бросилась по лестнице, но не успела и двух ступенек одолеть, как немец сдвинул обе половинки двери машины. Они сошлись плотно-плотно, там щелкнуло что-то, раздался такой характерный звук, какой бывает, когда закрывают кошелек, только гораздо сильнее.

Немец сел в кабину к шофёру, и машина медленно поехала, потом остановилась не очень далеко от нас, в берёзовой роще. Остановилась и гудела там минут пятнадцать. После гудеть перестала, но простояла на месте до сумерек. В сумерки к ней подошли немцы и начальник полиции Хабиб-оглы. Машина тронулась».

Уже после освобождения Кавказа группа работников управления Тебердинского курорта, членов поселкового Совета и медиков составила акт о



злодеяниях гитлеровцев:

«...по приказу начальника гестапо, оберлейтенанта немецко-фашистской армии Отто Вебера, было организовано неслыханное по своей жестокости варварское умерщвление больных костным туберкулёзом советских детей, находившихся на излечении на курорте Теберда Микояновского района Карачаевской области Ставропольского края».

После уничтожения детей последовал приказ группе медработников-евреев взять с собой ценные вещи и подготовиться к переезду для работы на угольных шахтах.

Кто не являлся на сборный пункт добровольно, тех ловили и избивали. Жена провизора София Владимировна Нейман-Шапшевич, лаборант, 35 лет, не выдержав издевательств, сошла с ума. Не желая стать покорной жертвой, некоторые врачи кончали жизнь самоубийством. Повесилась в лесу Фрида Эммануиловна Белкина, специалист в области лечения лёгочного туберкулёза, ей было всего 36 лет. Покончила с собой бухгалтер тубдиспансера София Соломоновна Фарбер...

После двух суток пребывания в корпусе без пищи и воды несчастных под конвоем погнали в сторону Микоян-Шахара (Карачаевск) и у подножия Лысой Горы расстреляли.

Трагической оказалась судьба и воспитанников пятигорского детского дома.

Из воспоминаний Нины Михайловны Сергеевой:

«Как я попала в дошкольный Машукский детский дом, не помню. Лишь позже узнала, что сюда меня доставили работники НКВД, как ребёнка «врагов народа». И таких, как я, там было большинство. Потом началась война с немцами...

Слабо помню, как посадили нас в вагоны поезда и куда-то повезли. Но уже скоро на наш состав посыпались немецкие бомбы, состав сошёл с рельсов и часть вагонов опрокинулась. Какие-то люди вытаскивали



нас из-под исковерканных вагонов и усаживали в придорожный бурьян, где мы просидели всю ночь.

С нами были и раненые, которые кричали от боли, но у взрослых лекарств никаких не было, а потому некоторые из раненых умерли. Потом, когда уже рассвело, прибыло несколько подвод, в которые нас буквально напихали. И на бричках вновь отвезли в детдом.

Хорошо помню, как появились немцы — всех нас выгнали во двор и стали выискивать евреев. Наш директор попытался защитить детей, но его на наших глазах застрелили, а всех отобранных посадили в большую грузовую машину. Больше их мы никогда не видели.

На протяжении последующих дней гитлеровцы вывезли всю мебель детдома, кухонную посуду для своих госпиталей. Правда, наши кровати не тронули, да и зачем они были им! Зато забрали всё-все из съестных припасов: муку, крупы, сахар, жиры. Даже картофель забрали. И нас нечем стало кормить. Спасибо, местные жители подкармливали чем могли.

Ко всему этому из-за отсутствия мыла распространилась чесотка, начали мучить вши. Потом наступили холода, и несколько оставшихся воспитателей бросали в печи всё, что могло гореть. К тому времени мы все были одеты в тряпье, такими были и наши постели — чёрные, грязные, дырявые...

Немцы больше в детдом не приходили, решив, что мы в этих условиях не выживем... Да к этому всё и шло — многие от голода и болезней поумирали. Как мы дожили до прихода наших, сама не могу понять.

Когда нас стали переодевать, предварительно обрив наголо и впервые отправив в баню, я взглянула на себя в обломок зеркала — одни кости, обтянутые жёлтой кожей».

Уцелевших детей посадили в трофейный автобус и отвезли в Курсавский детдом, где их новым директором стала Анна Ивановна Аладина. Никаких



документов на вновь прибывших не было, а потому всем дали выдуманные фамилии, имена, отчества, на глазок определяли возраст. Так дочка «врагов народа» из Машукского детдома стала Ниной Михайловной Сергеевой, 1935 года рождения.

Тяжкая участь постигла детдомовцев из Евпатории. Они бежали в Грузию, но дойти смогли только до Нижней Теберды, где их настигли немцы. Более ста детей вместе с воспитателями были умерщвлены. Об этом сегодня напоминает гранитный памятник на братской могиле.

Детдом, эвакуированный из Ленинграда, находился в Нижнем Архызе, на месте средневекового городища и мужского монастыря. Здесь, по данным госкомиссии, нацисты уничтожили до двадцати детишек из еврейских семей. Спасся только один — его сумели скрыть товарищи, русские дети.

Страшной оказалась участь детей — пациентов Ставропольской психиатрической больницы. Об этом сохранились показания главврача больницы Давида Габарова:

«Пятого августа 42-го года группа немецких солдат во главе с обер-фельдфебелем Герингом и фельдфебелем Шмитцем зашли в детское отделение, сообщив, что детей необходимо перевезти в районную больницу села Московского. Всех их в количестве более пятидесяти человек буквально загнали в огромную, без окон, машину. Потом мы узнали, что это была душегубка...»

Куда завоеватели сбросили детские трупы, неизвестно.

Сотни детских жизней оборвала война на оккупированном в 1942 году Северном Кавказе. Несмотря на масштаб трагедии, многих имен уничтоженных нацистами мальчишек и девчонок мы не знаем. Узнаем ли когда-нибудь? Чтобы составить о трагедии полную картину, нужны колоссальные усилия власти, учёных, общественности.



Гость фестиваля «Белая акация»

Проданная тень

Литература эпохи «неразличения»

Недавно ВЦИОМ опросил полторы тысячи россиян на предмет их литературных предпочтений. Отвечать изъявило желание всего два процента опрошиваемых. Остальных, по всей видимости, литература не сильно волнует. Самыми популярными писателями были названы Александр Пушкин, Дарья Донцова и Захар Прилепин.

Результаты опроса дали удивительно точный диагноз состояния литературного дела в стране. Пушкин — «наше всё» на все времена. Донцова (в плане тиражей и прибыли) — «всё» для издательств. Прилепин — телегибрид писателя, политика, воина-патриота и не чуждого гламура литературного бизнесмена-блогера, щеко-чущего нервы пользователей постами на изменчивую злобу дня — «всё» для среднего, интересующегося всем понемногу обывателя. Три составляющие — классика (как без неё в «словоцентричной» стране?), тиражный вал и гламур подме-



**ЮРИЙ
КОЗЛОВ**

*Литературо-
ведение*





нили в России естественный литературный процесс.

На месте Прилепина вообще-то должен был оказаться Дмитрий Быков. Патриотический гламур Прилепина — всего лишь оригинальная приправа к мощному (вспомним лауреатов «Большой книги-2018») либеральному гламуру, продвигаемого издательствами-монополистами и литературными активистами, сравнивающими Быкова с Тургеневым, Пелевина с Хайдеггером, Прилепина с Толстым, а Сорокина с Достоевским.

Литература как живая связь писателей с читателями (обществом) отделена от государства. Всё, что государство от себя отделяет, неизбежно обречено сначала на маргинализацию, а затем на монополизацию. Первый шаг двухходовки — падение престижа писателя в обществе, лишение его права на гонорар (читатель не покупает), возвращение писателя в гуттенберговскую реальность: сочинил, набрал, оплатил, напечатал, увёз домой тираж, раздал друзьям и знакомым. Второй — присвоение сложно-сочинённой группой заинтересованных лиц (профильные чиновники, финансирующие литературные премии олигархи, владельцы и ведущие редакторы крупнейших издательств, создающая теле- и интернет-контент интеллектуальная массовка) монопольного, исторично отстаиваемого права навязывать читателям произвольно выбранных (иногда всего на один-два сезона) авторов, занимаясь возгонкой их авторитета с последующей рассадкой этих авторов в различные президентские и прочие советы по культуре. Задача «звёзд» — отстаивать интересы и идеологические предпочтения тех, кто их туда посадил. Попутно активно маргинализировался и бессловесный читатель некогда «самой читающей страны» (народ перестал читать). Читатель, как и писатель, был отправлен восвояси с праздника шумных презентаций и упоительных награждений, где «все свои».

В эту игру уже много лет играет литературная



общественность. Все всё знают, всё понимают, но изменить ничего не могут. Этот алгоритм, кстати, вполне применим и ко многим другим сторонам нашей жизни.

Живущий в США, но внимательно следящий за тем, что происходит в России писатель Юрий Милославский ввёл в обращение термин, определяющий самую суть, кощееву иглу современной (пара) литературы — Искусственный Культурный Контекст (ИКК). Он опирался на результаты другого, куда более серьёзного, чем мимолётный вциомовский, социологического проекта «Мегапинион» на Мейл.Ру. На протяжении почти десяти лет двадцати тысячам читателей для определения степени даже не популярности, а просто их знакомства с произведениями русских, советских и современных пишущих на русском языке авторов, включая всех без исключения сегодняшних и вчерашних «лидеров продаж», предлагались списки из девятисот имён. Результаты оказались ошеломительными, но ожидаемыми: Пушкин, Шолохов, Фадеев, Булгаков значительно опередили властителей дум и лауреатов престижных литературных премий.

«К чему лукавить? — делает вывод Юрий Милославский. — Новоназначенные Толстой и Стивен Кинг, Гомер и Гоголь с Грибоедовым и Джойсом впридачу, с их миллионными тиражами, жадно раскупленными китайцами, немцами, пензенскими студентками и белорусскими старшекласниками, но чьи сочинения в Отечестве прочитали от 2 до 21 особы из 20 с лишним тысяч возможных — выглядят странно. При этом полемический вопрос: «А ежели б их вовсе не раскручивали, кто бы тогда их вообще читал?» — абсолютно неуместен. Мы живем в эпоху злокачественного неразличения».

К этому можно добавить: «низы» по-прежнему читают, но не то, что им навязывают «верхи».



Культура короткой воли

Древние римляне считали, что люди должны понуждаться к добродетели. Точно так же они должны понуждаться к культуре. В каждую эпоху эта проблема решается по-разному. Иногда новая культура растёт на фундаменте прежней. Иногда самоутверждается на её обломках.

Ранняя советская культура была воинственно враждебна буржуазной культуре царской России. В отвал ушёл не только сброшенный с корабля современности Пушкин, но и классическая русская живопись, музыка, скульптура, архитектура, философия. Особо изощрённому поруганию подверглось всё имеющее отношение к православию. В годы перестройки писатель и историк Пётр Паламарчук издал в Париже многотомную энциклопедию уничтоженных в России храмов, церквей, исторических зданий.

До середины тридцатых годов советская культура существовала как «вещь в себе», эксплуатируя революционный пафос восставших против вековой несправедливости масс, выдавая «на-гора» шедевры типа «Броненосца Потёмкина» Эйзенштейна, поэм Маяковского, пролетарского фарфора, башни Татлина, картин и фотографий Эль Лисицкого и Родченко. Ранняя советская культура была полна пафоса переустройства мира, но была лишена национального содержания. Это была культура изначально утопической «земшарной республики советов», ощупью выходящая на некие смутные всемирные идеалы всеобщего равенства, братства и счастья, противоречиво сочетаемые с жестокостями кровавой классовый борьбы.

Настоящая советская культура — «Тихий Дон» Шолохова, стихи Пастернака, исторические романы Алексея Толстого, сталинский ампиризм в архитектуре, «Василий Тёркин» Твардовского, «Александр Невский» Эйзенштейна, «Летят журавли» Калатозова, «Застава Ильича» Хуциева, «Я шагаю по Москве» Данелии — оформилась и превратилась в важную часть мировой культуры только тогда, когда



в государственной политике произошёл отказ от безнационально-революционного начала. Когда твёрдо определившее своё место в мире и свои стратегические приоритеты советское государство пронизало культуру универсальной арматурой, синтезирующей классовые, национальные и идейные корни всей предыдущей исторической России. Точкой сборки новой, существующей сегодня в режиме исчезновения культуры стало празднование пушкинского юбилея в 1937 году.

Это был странный юбилей. Погибший сто лет назад Пушкин как бы возрождался к новой жизни — уже не в феодальной, а в социалистической России. Старая Россия убила гения. Новая — воскресила его в столетний юбилей со дня смерти. Советская власть обрела силу и право на будущее, а потому утратила страх перед старой, некогда чуждой культурой.

Понуждать (с детского сада до дома престарелых) народ к культуре имеет возможность только уверенное в себе, проектирующее жизнь граждан на десятилетия вперёд государство. Для этого оно должно понимать культуру. Но ещё яснее оно должно понимать само себя: что строим, куда движемся, какое будущее нас ожидает? Именно здесь реализуется, приобретает созидательное наполнение та самая, воспетая Львом Гумилёвым «длинная воля» пассионарных творцов, причём не только в культуре. Если этого нет, торжествует «короткая воля» циников, воров и мошенников. Если государство демонстративно игнорирует культуру, оставляет её без поддержки, не генерирует увлекающих творческих людей проектов, культура обречена на вырождение. На её поляну заступает зрелище, шоу-бизнес, ток-шоу и прочие низкопробные заменители. Наглядное свидетельство — перечень каждый год достаиваемых в России высших государственных наград певцов, юмористов, телевизионных ведущих и шоуменов. Предоставленная самой себе культура течёт в пустоту, фальшь и воровство, что мы и наблюдаем сегодня.



В обществе определённо созрел (и перезрел) запрос на новые смыслы, накопилась усталость от заворачиваемой в красивую обёртку (раньше анти-советской, сегодня всё чаще карикатурно-патриотической) пустоты. Настало время, если и не понуждать, то хотя бы объяснять людям, что такое настоящая культура, которой так богата наша страна. Длинная воля в людях творчества не иссякла, она копит силы и ждёт внимания к себе.

Малая книга

Литературную премию «Большая книга» называют одной из самых престижных и значительных в России. Она — детище государственно-частного партнёрства, объединившего чиновников, миллиардеров-олигархов, издателей-монополистов, литераторов, придерживающихся либеральных взглядов на культуру и художественное творчество. Это «дорогая» премия, сопоставимая с объёмом «золотого парашюта» для увольняемого со службы средней руки чиновника или сотрудника госкорпорации. Победитель — три миллиона, второе место — полтора, третье — миллион рублей. Наконец, это идеологизированная премия. Её ни при каких обстоятельствах не получают Владимир Личутин, Владимир Крупин, Виктор Лихонос, Станислав Куняев, любой другой, живущий в провинции и пишущий о реальной жизни простых людей автор.

«Большая книга» — российский вариант деятельности того самого «глубинного государства», пронизательно замеченного нашими политологами в США. Это только кажется, что в России нет идеологии. В России причудливо сосуществуют, сплетаются и расплетаются сразу несколько идеологий. В последнее время борьба между ними обостряется. Тут и «дело Серебрянникова», и смена руководства во МХАТе Дорониной, и гонения на рэперов, и странные мероприятия по выбору персонажей для названий аэропортов, и показательное невнимание



официальных властей и СМИ к крупнейшей организации писателей страны — Союзу писателей России, глухо отметившему четвёртого декабря (кстати, в день чествования лауреатов «Большой книги») в полупустом зале ЦДЛ шестидесятилетний юбилей. Глубинное государство в невидимой борьбе держится молодцом, победительно доминируя как на премиально-литературном, так и на официально-наградном фронтах.

У меня нет никаких претензий к лауреатам премии «Большая книга-2018». Мария Степанова (мемуарное эссе «Памяти памяти»), Александр Архангельский (роман «Бюро проверки»), Дмитрий Быков (роман «Июнь»), Людмила Петрушевская (за вклад в литературу) — достойные, талантливые писатели. Быков, так и вовсе человек Возрождения. Он давно превзошёл по количеству написанного Владимира Ильича Ленина, собрание сочинений которого составляло пятьдесят с чем-то томов. Дело в соблюдении пропорций. Можно изготовить блюдо из одних и тех же компонентов, но оно будет не для всех, а для любителей именно этих продуктов.

«Большая книга» с самого начала превратилась в «Малую книгу», выхватывая из современной российской литературы произведения, живописующие ужасы советского прошлого, страдания умных, тонких интеллигентных людей, вынужденных существовать бок о бок с отрицающим понятия добра и права, ненавидящем свободу и достоинство человеческой личности «быдлом». И это быдло — все, кто смотрит на жизнь иначе, чем герои премиальных произведений. В трудах всех трёх лауреатов бьёт ключом еврейский нарратив — тема мужества и нравственной высоты носителей пресловутого «пятого пункта», вынужденных противостоять злumu и жестокому советскому, но с русской фамилией миру. Здесь, правда, возможны варианты. Гузель Яхина (премиальная звезда прошлых сезонов) живописала страдания других негитуйльских наций — татар и немцев.



В своё время Ильф и Петров писали о двух мирах в СССР – большом и малом. В большом мире строили ДнепроГЭС, учились и работали, укрепляли границы, одним словом, созидали. В малом тоже происходили какие-то события, например, родилась популярная песня «Кирпичики». Два мира сосуществовали, но у малого не было ни малейших шансов подменить большой. Тот сдал позиции гораздо позже – к концу восьмидесятых годов. К чему привела победа малого мира – известно.

«Большая книга» сегодня – гимн прошлому и нынешнему малым мирам, увеличительное стекло для «Малой книги», претендующей подменить собой противоречивое разнообразие современной российской литературы, работающей над другой «Большой книгой».

Рынок минус государство

Писатель Евгений Замятин (роман «Мы»), высланный из СССР в тридцатых годах прошлого века, сказал, что единственно возможное будущее русской (советской) литературы – её великое прошлое. Он немного ошибся во времени. Лучшие произведения советского времени не уронили чести классической русской литературы, чего никак не скажешь о литературе новой (после 1991 года) России.

Сегодняшняя литература – это рынок минус государство. Падение престижа профессии писателя и произвол издательств-монополистов. Многостраничные договоры, согласно которым писатель не имеет права ни на что, кроме (если повезёт) ничтожного гонорара и мифических роялти, в отличие от издательства, которое овладевает его произведением, как барин крепостной девкой – быстро, грубо, как говорится, «всухую», не тратя времени на ненужные ухаживания.

Из тысячелетней русской литературной традиции вырван живой нерв любви к Родине («Слово о полку



Игорева») и защиты униженных и оскорблённых (Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов). Постсоветская литература – мёртвый зуб, выбеленный до унитазного блеска, покрытый сверкающей алмазной крошкой. С хоть и горького, но вечнозелёного пастбища «не могу молчать» и вечной борьбы за достоинство человека литература откочевала в сухие степи сферы услуг, где единственная возможность выжить – премиальное орошение. Оргкомитеты и кураторы премий уподобились тоталитарным, распределяющим полив, сектам со своими иерархиями, правилами и порядками. На входных дверях в любые премиальные циклы дантовское предупреждение – оставь надежду всяк (без приглашения и предварительного согласования) сюда входящий.

Разрыв между поколениями писателей сегодня не просто велик, но непреодолим. Бывшие советские (старших поколений) и современные тридцатисорокалетние литераторы существуют в разных мирах. Первые ностальгически жмутся к союзам писателей, остаточно верят в то, что власть обратит на них внимание и даст денег на книги. Вторые чётко усвоили, что творческий (за исключением ТВ и шоу-бизнеса) труд в современной России принципиально не оплачивается, а потому ищут себе прокорм в других занятиях.

Грамотный, вдумчивый, любящий литературу читатель ушёл в подполье. Массовый же, в отсутствии профессиональной критики, дезориентирован и ведётся на рекламу произведений «лидеров продаж»: Дины Рубиной, Дарьи Донцовой, Дэна Брауна и прочих авторов, удостоившихся персональных издательских проектов.

В разделённом, униженном и обобранном писательском сообществе, как на тонущем «Варяге» зреет бунт против узаконенной нищеты и несправия литературного сословия, против устранения государства от одной из первейших своих обязанностей – создания нормальных условий для профессиональной работы писателей, соблюдения разумного



баланса на книжном рынке между произведениями позитивной (в плане традиций и нравственности) и негативной, отрицающей эти понятия, направленности.

Есть молодые талантливые авторы, продолжающие традиции русской литературы: Андрей Антипин, Платон Беседин, Андрей Тимофеев, Юрий Лунин, Сергей Доровских. Есть и редакторы, например, Юлия Качалкина, много лет профессионально и продуктивно работающая с молодыми авторами, пробивающая в ущерб издательской прибыли их произведения в печать.

У современной русской литературы есть будущее. Но только в том случае, если писатели разных поколений смогут объединиться, чтобы отстаивать своё право на достойную оплату творческого труда, а государство определит свои интересы в литературе и (как минимум) составит конкуренцию издательствам-монополистам, владельцы которых (сплошь миллиардеры, в отличие от нищих авторов) живут за пределами России и меньше всего думают о том, как оплачивать труд писателей и «сеять разумное, доброе, вечное».

Сто цветов под железной пятой

Крупные книжные магазины больших городов изумляют обилием предлагаемой литературы по самым разным темам и направлениям. Никогда в России не издавалось столько свободных от цензуры и утверждённой государством идеологии книг. Если где и восторжествовал китайский лозунг: «Пусть расцветают сто цветов», то это в книгоиздании.

Государство ушло из книгоиздания, отдало его на милость рынка. В настоящее время приватизируется последнее государственное (с вековой историей) издательство страны «Художественная литература». На первом этаже, где был книжный магазин, предполагается открыть ресторан. Книжные магазины закрываются по всей «глубинной» России. Во мно-



гих райцентрах, где живут десятки и сотни тысяч жителей, не осталось ни одного, а помещения библиотек используются как «центры досуга», где книг и след простыл.

Издательства соревнуются в выпуске научной, эзотерической, классической, «неформатной» литературы. Цены на качественные в плане полиграфии, иллюстраций, справочного аппарата издания неподъёмны для тех, кому эти книги необходимы, — студентов, преподавателей, учёных, одним словом, гуманитарной и технической интеллигенции.

Книги, как «уходящая натура» покидают квартиры и дома. Бережно собираемые предыдущими поколениями домашние библиотеки ликвидируются наследниками. В современных квартирных интерьерах вообще не предусмотрены места для хранения книг. Книжный шкаф, книжная полка, становятся таким же раритетом, как комод или ломберный столик. Библиотеки проводят акции по раздаче книг населению. Помойки во дворах, подоконники в подъездах домов периодически заполняются книгами. Книга превратилась в мусор.

Книжные выставки-ярмарки типа московских «Красная площадь», «Нон-фикшн», питерского «Книжного салона» за несколько дней собирают сотни тысяч, если не миллионы посетителей.

Статистика свидетельствует, что взрослый гражданин в России читает в среднем не более двадцати минут в неделю.

Каждый год в стране появляются сотни новых литературных изданий.

Тиражи всемирно известных русских «толстых» журналов, некогда составлявших гордость отечественной словесности, наполнявших смыслом литературный процесс, упали с миллионов до сотен экземпляров. Большинство из них находится на грани исчезновения.

Литературный процесс как таковой в России практически отсутствует. Исчезли критики, отсле-



живающие тенденции в литературе, выстраивающие иерархию писательских имён. Премияльная политика превратилась в составную часть коммерческой «раскрутки» избранных авторов и произведений. Если книгу из-за отсутствия художественных достоинств невозможно «впарить» читателю, то это делается с помощью присуждения ей престижной премии и вынужденной реакции на это профессионального сообщества. При этом неважно, хвалят книгу или ругают. Главное, чтобы о ней говорили. Книгу пытаются запихнуть в рамки «гламура», превратить в регулируемый модой на того или иного писателя, или ту или иную тему товар.

Человеческая цивилизация вступила в один из самых драматичных периодов своей истории. Период «очеловечивания» капитализма закончился, цивилизация по спирали возвращается во времена «железной пяты». Если представить себе культурный процесс в виде пирамиды, то во все времена вершину этого процесса венчала книга. Сегодня мы переживаем трагедию книги. Сальери в произведении Пушкина мечтал «разъять музыку, как труп». Именно это и сделали с книгой цифровые и информационные технологии. С духовных и философских высот книга опущена на уровень рядового источника информации. Она последовательно и системно вытесняется из культурного обихода современного человека.

Сейчас много говорят и пишут о том, что альтернативы объявившей книгу «уходящей натурой» глобализации нет и быть и не может. Это не так. Альтернатива глобализации — справедливое государство, опирающееся на разум и традиции, память и здравый смысл народа, заархивированный и продолжающий жить в литературе, философии, культуре. Книга существует тысячи лет. Цифровые и прочие информационные технологии — от силы полвека. Книга наряду с экономикой, идеологией и культурой — фундамент, на котором стоит государство. Просветители прошлых веков утверждали, что



о степени «очеловеченности» государства следует судить по его отношению к книге. Добавим: о будущем этого государства тоже.

Проданная тень

Фраза (заголовок статьи 1932 года) Горького «С кем вы, мастера культуры?» вспоминается едва ли не чаще, чем другое знаменитое изречение великого пролетарского писателя: «Если враг не сдаётся, его уничтожают». В ленинско-сталинское время в случае неправильного ответа на первый вопрос судьба «мастера культуры» перемещалась в «отдельную» (по Кастанеде) реальность второго изречения классика. Это расстрел (Николай Гумилёв, Павел Васильев, Борис Корнилов, Алексей Ганин), лагерь (Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий), опала и нищета (Анна Ахматова, Михаил Зощенко). Культура в советское время напоминала волшебное пальто. Крепкий материал, качественный пошив с яркими молоткосто-серпастыми пуговицами снаружи и — ключепроволочная, из страха, подкладка внутри.

Со временем, впрочем, подкладка мягчала. После смерти Сталина мастеров культуры уже (за редким исключением) не уничтожали, а перевоспитывали. Кого посредством общественного осуждения («Я Пастернака не читал, но осуждаю...»), кого — статьями УК (Даниэль и Синявский, Леонид Бородин), кого — понуждением к эмиграции (Гладилин, Аксёнов, Галич, Довлатов) или прямой, как во времена ленинского «философского парохода» высылкой (Солженицын), но чаще — отлучением от профессии, переводом в категорию «непечатников».

В годы перестройки, когда могучий и незыблемый Советский Союз зашатался, мастера культуры на вопрос с «с кем вы?» ответили по-разному. Одни возрадовались свободе и рынку, другие — призывали одуматься и не крушить всё сплеча («Слово к народу», «Письмо семидесяти четырёх»). Возрадовавшиеся демократии писатели в роковой октябрь



1993 года ответили своим оппонентам «Письмом сорока двух», призывающим тогдашнюю власть «раздавить гадину», то есть действовать в духе второй горьковской «максимы» «Если враг не сдаётся...»

Культура — литература, живопись, архитектура, музыка — во все времена (когда явно, когда скрыто) отражает идеологию общества, внутри которого живёт и работает творец. Идеология — тень, сопровождающая государство и (в менее выраженной форме) его культуру. Если в государстве, как в современной России, идеология (по Конституции) признаётся недопустимой, государство, во-первых, лишается возможности влиять на культуру, формировать общественный «дискурс», во-вторых, переходит с «национальной кухни» на «эрзац», фаст-фуд культуры — шоу-бизнес, попсу, концерты хохмачей, «чёс» престарелых, потерявших стыд и совесть «звёзд», которым без разницы о чём петь — о «родной полиции» или осанну на свадьбах детей олигархов и юбилеях проворовавшихся чиновников. Более того, возникает такое требующее научного изучения, явление, как «антикультура», основанное на так называемой ненормативной лексике и конфликте плохого с худшим.

Мастера культуры в России уподобились Петеру Шлемилю из повести немецкого романтика XIX века Шамиссо. Герой остался без тени потому что продал её дьяволу. Здесь видится (в духе классической немецкой философии) неразрешимый парадокс: оставшиеся без тени (идеологии) государство и культура, остались без самих себя, потому что не отбрасывать тень может только то, чего не существует.

В середине тридцатых годов автор антиутопического романа «Мы» Евгений Замятин утверждал, что будущее русской литературы — это её великое прошлое. Сегодня его слова обрели вторую жизнь. Переведённая из сферы духовных приоритетов в сферу обслуживания культура не способна производить смыслы для превращающегося в безликое



население народа. Мастера культуры сегодня обслуживают и обворовывают тех, кто даёт им деньги. Как злая насмешка над прежними символами СССР — культурой и космосом — выглядят только что обнародованные данные Счётной палаты об «исчезновении» огромных средств в министерстве культуры и корпорации «Роскосмос». Похоже, философский парадокс имеет тенденцию к развитию: деньги в обществе без идеологии исчезают точно так же, как проданная (страшно сказать, кому) тень.

Рычи, Россия!

Литературная жизнь в СССР по своему идейному наполнению и влиянию на общество не шла ни в какое сравнение ни с прежними временами, ни с тем, что мы наблюдаем сегодня, когда литература в гораздо большей степени, чем некогда церковь, отделена от государства. При этом настоящее и будущее российской интеллигенции мало чем отличается от её прошлого, которое, к глубочайшему сожалению, в отличие от литературы, трудно признать великим.

Определение В.И. Лениным интеллигенции как «говна нации» в полной мере относится и к самому вождю мирового пролетариата, явившему миру квинтэссенцию ненависти не только к несправедливому на его взгляд тогдашнему устройству мира, но и к своему народу и государству. Их, впрочем, «своими» Ленин никогда не считал. Грубо говоря, в треугольнике «интеллигенция — народ — государство» никакая гармония, никакой здравый смысл изначально невозможны. Предлагаемый со стороны интеллигенции выбор невелик: или устойчивая, транслируемая социальными сетями и СМИ ненависть к народу и государству, или неутолимое желание безжалостно реформировать косное, продажное, воровское государство вместе с отупевшим, рабствующим народом, не опираясь ни на какие «общечеловеческие» правила и принципы, как это делали в семнадцатом году Ленин, а в начале девя-



ностей Гайдар. Ленин едва не бросил Россию в крематорий «мировой революции», Гайдар — в не менее «эффективный» крематорий «рынка», спаливший в девяностых и нулевых годах не один миллион человеческих жизней.

Всем же прочим, кто относит себя к образованному сословию, но не желает существовать внутри этих, на первый взгляд разнополярных, но в действительности единосушностных, растирающих «жизнь и судьбу» в пыль жерновов, предназначены наказание забвением, либеральный бойкот, а в менее «вегетарианские» времена — «Философский пароход», лагерь, ссылка, а то и расстрел. Неформат — он и есть неформат.

Творчество Юрия Полякова — это удивительно талантливая, исполненная победительного юмора и точнейших наблюдений, попытка разобраться в двойственной, но изначально враждебной государству и народу, природе российской интеллигенции. Причём как той её части, которая формирует общественное мнение, определяет презрительно-брезгливый по отношению к власти «дискурс», так и той, которая находится во власти и действует в отношении государства и народа аналогично, но иными средствами. Уж кто только не ужасался нашей, работающей исключительно «навынос» экономической системой, а также телевидением, театральными постановками, странными, оплаченными из казны фильмами и перформансами, специфическими авторами, призванными представлять страну на различных международных мероприятиях. Но нет! Всё остаётся, как было.

Поэтому произведения Юрия Полякова как во времена позднего СССР, так и в сегодняшней России, мягко говоря, не пользуются успехом у представителей либеральной интеллигенции, предъявляющей писателю взаимоисключающие претензии. Либералы во власти — за излишне злую, по их мнению,



критику власти. Либералы вне власти — за «конформизм» и мнимое сотрудничество с властью. Писателю не прощается даже не столько доказательство однокоренной сущности власти и так называемой оппозиции, сколько то, что он позволяет себе смеяться и издеваться над «священным» и ни при каких обстоятельствах не подлежащим отмене при таком современной российской интеллигенции ненавидеть государство, презирать власть и одновременно сытно жрать из их кормушки.

Этого они Юрию Полякову простить не могут.

Зато его книги читает народ, и если есть сегодня в стране по-настоящему народный писатель, то есть такой, кого независимо от того, нравится или нет то, что он пишет, читают все, то это именно Юрий Поляков. Только один читатель «голосует» за него тиражами и полными залами на встречах и конференциях, а другой (либерально-интеллигентный) угрюмым молчанием и «критическим» бойкотом.

Людвиг Гумплович — польский философ девятнадцатого века, считающийся одним из основателей социологии, в труде под неполиткорректным названием «Борьба рас» вообще утверждал, что представители так называемых элит во многих государствах являются либо потомками завоевателей этих государств, либо представителями этнических, религиозных или культурных меньшинств. Можно вспомнить норманнов в Британии, варягов, монголов и немцев на Руси, европейцев в Новом Свете, наконец, хазаров в волжских степях. Все политические элиты, развивает эту мысль современный философ и политолог Александр Дугин, таким образом, есть результат внедрения в народы представителей других этносов, некогда покоривших местное население и создавших особую властную прослойку, преобразовавшуюся впоследствии в «политический класс». Эта прослойка закрепляет свою победу в системе управления государством, создавая для «своих» привилегии в экономике, культуре, медийном пространстве и шоу-бизнесе. Власть в соответствии с



данной теорией является не выражением народного духа или религиозной мысли, а ксеноморфной, как пишет Дугин, отчуждённой организацией. В самом деле, как иначе можно объяснить поздравительные телеграммы прогрессивной российской общественности в начале прошлого века японскому императору по случаю победы в Цусимском сражении, или недавние рекомендации видного политолога американскому флоту нанести ядерный удар по Севастополю, а президента России запереть в сумасшедший дом?

Во второй половине семидесятых годов я работал в отделе публицистики знаменитого тогда журнала «Юность» и помню, с какими тягостными мучениями двигались к публикации два феноменальных для советской действительности романа Юрия Полякова: «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба». Для тогдашнего СССР эти произведения были одновременно чем-то вроде глотка чистого воздуха и лакмусовой бумажки. Это было освежающее прикосновение к самым заскорузлым и болезненным язвам нашей жизни. В них ставились гораздо более серьёзные и судьбоносные, нежели в произведения Василия Аксёнова, Анатолия Гладилина, Анатолия Кузнецова, не говоря о Викторе Ерофееве, Евгении Попове или Сергее Довлатове, вопросы, причём не «местного» (для прячущей в кармане «фигу» интеллигенции), а поистине общенационального значения. Я помню, как цензура, армейское начальство и редакция выкручивали руки писателю, требуя «смягчений» и переработок, пугая его переходом в статус «непубликуемого». Но он всё это выдержал, не пошёл на уступки, хотя это и затянуло публикацию крайне нужных в то время обществу произведений, на годы.

Советская власть относилась к Юрию Полякову терпимо, но настороженно. О его противостоянии с армейскими, комсомольскими, главлитовскими и прочими «ревнителями» социалистической непо-



рочности историки литературы могут сочинять монографии и защищать диссертации. При этом сам он никогда не выставлял себя жертвой режима и страдальцем за истину, хотя вытерпел от власти в те годы куда больше, нежели многие «светочи» свободы и демократии, публично сжигавшие и разрывавшие зубами свои партбилеты.

Личность и творчество Полякова невозможно понять и правильно оценить без глубокого осмысления двух ключевых для него понятий: искренность и компромисс. Писатель всегда искренен в своём неприятии «свинцовых мерзостей» действительности, но при этом допускает возможность компромисса, если видит эволюцию власти в направлении здравого смысла, постепенного очеловечивания самой власти. Здесь уместно вспомнить знаменитый афоризм близкого по духу Юрию Полякову французского философа Жозефа де Местра: «Злоупотребления ведут к революциям, но любые злоупотребления несравненно лучше любых революций». Или строчку Иосифа Бродского: «Но ворюги мне милей, чем кровопийцы». Это воистину печальный выбор. Однако краденое имущество в редких случаях можно вернуть. Отнятую жизнь — никогда. Не заблуждаясь относительно природы человека, настоящий писатель всегда выбирает меньшее из зол.

Поляков вполне мог бы конвертировать свою (подтверждённую!) репутацию «борца» с режимом в премиальные и прочие блага ельцинской эпохи. Однако вместо этого он ошарашил общественность двумя беспощадными по отношению к творческой и политически активной (её ещё иногда называют «демшизой») интеллигенции произведениями — романом «Козлёнок в молоке» и повестью «Демгородок».

Такого сеанса разоблачения литературной и политической «магии» Юрию Полякову простить никак не могли. Потому что он снова преступил все грани интеллигентных «приличий», а именно



показал народу, что властители дум, неважно, патриотических или либеральных взглядов, обладают одним, опять-таки сущностным сходством: они организованы и действуют по принципу сплочённой замкнутой секты. Особенно когда речь идёт о материальной реализации патриотических или либеральных взглядов посредством распределения между «физическими лицами» различных благ: имущества творческих организаций, дачных участков, литературных премий, беспрепятственного доступа к государственному «корыту».

Ошеломляющий успех у читателей и — одиночество писателя на творческом Олимпе. Либеральная интеллигенция вынесла Полякову вердикт в духе хрестоматийного: «В общем, ты виновен, ибо я говорю, что ты виновен». Поляков — уникальная фигура в современной российской литературе. Писатель-одиночка, любимый народом, но холодно отстраняемый, как патриотическим, так и либеральным «крыльями» творческой интеллигенции.

При этом нельзя говорить о том, что, блистательно анализируя «родовые», психологические и прочие травмы и комплексы образованного сословия, писатель идеализирует русский народ. Нет, в романах «Замыслил я побег», «Грибной царь», в повести «Небо падших», в своих пьесах он откровенно показывает его недостатки: вороватость, социальную и политическую пассивность, нелюбовь к труду, приверженность принципу «однова живём!», прочие нехорошие национальные особенности. Но, детально исследуя противоречивое метафизическое сосуществование интеллигенции и народа, писатель однозначно отдаёт свои симпатии представителям простого народа. Да, народ вынужден, хитря, выгадывая, обманывая и приворовывая, выживать при любой власти. Особенно если власть не оставляет ему иных вариантов. Но любая власть всецело и исключительно существует за счёт народа. Их дворцы, яхты, футбольные клубы и морозно-



вентилируемые шубохранилища означают отсутствие у народа детских садов, поликлиник, санаториев, бесплатного образования, достаточных для существования пенсий и далее по списку. Эта мысль, как «пепел Клааса», бьётся в каждом произведении Юрия Полякова.

Поляков, несмотря на всю свою публичную сдержанность, спокойствие и достоинство, неизменно на шаг впереди власти. А потому полного доверия ему нет. Есть презирующие власть, но милые её сердцу либеральные литераторы. Есть презируемые властью, но вынужденно и почти всегда безответно взывающие к ней писатели-патриоты. И — представляющий исключительно самого себя Юрий Поляков. Он для власти всего лишь полезный «попутчик». Если некоторые патриоты, как, скажем, Никита Михалков, социально, да пожалуй, что и духовно, близки власти, про Полякова этого сказать никак нельзя. Например, у него никогда не было ни малейшего обольщения Западом, как «землёй обетованной и неким моральным (демократическим) абсолютom. В его произведениях нет положительных героев из числа «новых русских». Едва ли кто злее и откровеннее описывал уродства «русского капитализма», обнажал внутреннюю сущность представителей нынешней «элиты».

Хочется верить, что Россия изжила политику предательства национальных интересов. Но ужасает глубина нерешённых и нерешаемых социальных конфликтов, ублюдочная культурная политика, ежегодный рост количества миллиардеров, размах воровства и коррупции в среде «государевых людей». Чего стоят одни заграничные имения бывших и действующих губернаторов и членов правительства, о которых, правда, мы узнаём, только когда губернатор успеваеет покинуть свой пост.

Опять хочу процитировать де Местра: «Человек, предоставленный самому себе, слишком порочен,



чтобы быть свободным». Эта мысль — главный нерв практически всех произведений Юрия Полякова. Писатель вослед де Местру и Исае Берлину на примере своих героев исследует внутреннюю логику развития двух разновидностей свободы — негативной и позитивной. И, что очень важно, в этом ему помогает богатый жизненный опыт человека (условно) тоталитарного СССР и — (условно) демократической и рыночной современной России. Негативная свобода, насильственно объединяя народ во имя провозглашённых идей, «зжимает» отдельно взятую личность в определённых рамках. В то же самое время она позволяет развивать в интересах общества (совокупности личностей) социальные государственные институты: образование, науку, здравоохранение, спорт, дворцы пионеров, культуру, космические и биосферные (вроде переброски сибирских рек в Среднюю Азию) мегапроекты. В условиях негативной свободы изначальное несовершенство человеческой природы (теоретически) реализуется в таких страшных вещах, как тоталитаризм и его худшее проявление — фашизм, стремлении к ложным и изначально недостижимым (как, к примеру, построение коммунизма к 1980-му году) целям. Общество негативной (тоталитарной) свободы, таким образом, исторически обречено. Особенно в условиях информационной войны, когда неизменно проигрывает тот, кто говорит правду. Советская пропаганда не говорила правды о своих социальных достижениях, равных для всех граждан возможностях самореализации, но лгала о пролетарском интернационализме и неизбежной победе коммунизма.

Юрий Поляков мастерски и с большой болью исследовал жизнь человека в обществе негативной свободы, выявляя точки «неприемлемого ущерба» для жизнеспособной, в общем-то, позволяющей относительно неплохо существовать подавляющему большинству народа системы. Его герои своими судьбами показывали, что и как необходимо изме-



нить в государстве, чтобы избежать краха, избежать той самой революции, которая, как утверждал де Местр, всегда хуже любых злоупотреблений. Сегодня мы видим такую революцию на Украине. В драматических обстоятельствах выбора между конфликтующими целями герои Юрия Полякова всегда остаются людьми. Они, как главный герой романа «Грибной царь», делают выбор в ущерб себе, но во благо ближних, тем самым подтверждая божественный принцип непотерянности любого человека для добра, милосердия и некоей высшей справедливости. То есть всего того, что зачтётся на ожидающем каждого Страшном Суде. В то же самое время талант писателя не позволяет Полякову отклониться от мысли, что традиционные человеческие ценности — свободу личности, социальную справедливость, равенство граждан перед законом — невозможно гармонизировать в пределах одной системы принципов, в данном случае социально-тоталитарного СССР. И Юрий Поляков вослед классикам русской литературы решает вечный конфликт между личностью и несовершенством любой общественной системы посредством самоопределения личности в условиях неизбежного выбора между добром и злом, а также неизбежных при этом утрат.

Однако не менее тупиковым и, в сущности, ставящим перед человеком те же проблемы, оказывается и общество позитивной свободы, то есть бескрайней и безбрежной свободы личности в ущерб любым ограничениям со стороны государства. Здесь деградация идёт ещё более ускоренными темпами, что мы сегодня наблюдаем в виде разгорающейся борьбы за признание прав сексуальных меньшинств, бесполое воспитание детей, сознательного разрушения такой естественной формы человеческих отношений, как семья, оправдании скотоложства и педофилии, наступлении на саму природу человека.

В «трёхкнижном» романе «Гипсовый трубоч, или конец фильма», Юрий Поляков проводит мысль, что некое относительное равновесие в мире негативной



и позитивной свобод было возможно, пока существовали две конфликтующие общественные системы. Соревнуясь друг с другом, они давали возможность значительному числу людей существовать без превосходящего меру насилия над своей природой и представлениями о достоинстве и справедливости.

Современная Россия испытала на себе полномасштабное воздействие, как негативной, так и позитивной свободы. Оба эти пути оказались тупиковыми.

В конце двадцатых годов в СССР была очень популярна пьеса Сергея Третьякова под названием «Рычи, Китай!» Там речь шла о том, как страна-великан, угнетаемая и попираемая колонизаторами, поднялась на борьбу, чтобы навсегда сбросить цепи рабства. В 1924 году случился знаменитый ваньсяньский инцидент, когда капитан английской канонерки, наведя орудия на уездный город Ваньсянь, выступил в роли судьи, расследующего конфликт на бытовой, как сказали бы сейчас, почве между портовыми рабочими и сотрудником английской фирмы.

Сегодня России предстоит решать примерно те же проблемы, что некогда одурманенному опиумом Китаю, хотя, конечно, наше положение, благодаря ещё имеющемуся у нас ядерному оружию, всё же лучше, чем у тогдашнего Китая. Но отношение к России со стороны Запада примерно такое же. Тут ни убавить, ни прибавить.

В последнее время люди во власти заговорили о том, что Россия – это некая отдельная цивилизация, у неё свой (третий?) путь, своя миссия, своё (уникальное?) место в мире. Юрий Поляков – русский писатель, драматург, поэт, публицист, общественный деятель, главный редактор «Литературной газеты» – давно предвидел этот путь. За внешне спокойной, философичной, полной остроумных и глубоких афоризмов, образной и сюжетной прозой этого автора звучит тот самый рык (кстати, герой повести «Демгородок» так и зовётся – адмирал Рык), кото-



рый поначалу задавленно и едва слышно, но в последнее время всё отчетливее издаёт Россия. Что поделаешь, истинная литература — всегда предвидение и пророчество, неважно в какой жанровой или сюжетной «упаковке».

Китаю для обретения себя потребовалось почти сто лет.

Хочется верить, что Россия обретёт себя быстрее и без тех страшных потрясений, которые терзали её весь прошлый век. Именно к этому призывает своим творчеством и всей своей общественной деятельностью один из самых популярных и любимых народом писателей Юрий Поляков.

Страна отложенной эротики

Русская классическая литература всегда была весьма сдержанна в описании любовных страстей. А если кто из классиков шалил, как, к примеру, «наше всё» — Пушкин, то без намерения публиковать крамольные сочинения, и с упрямым (только императору Николаю I Пушкин признался) отказом от своего авторства.

Любовная тема в русской литературе никогда не была главной и самодостаточной, всегда шла прицепным вагоном за темой социальной. Иначе в жёстко разделённом на сословия обществе быть не могло. Жизнеутверждающая эротика — свидетельство гражданского и духовного здоровья общества, а в России с этим всегда было туго. Барышни-крестьянки, бедные Лизы, несчастные крепостные девушки, позже нигилистки-разночинки и сосватанные без любви аристократки были изначально несвободны и ущемлены в своих чувствах, а потому редкий русский автор (исключение — хулиган Барков) осмеливался изображать физическую сторону любви. Только у Чернышевского сексуальная невоздержанность героинь подавалась как осмысленный протест против укоренившегося в обществе зла.

В изуродованной многочисленными социальны-



ми пороками русской повседневной жизни любовь почти всегда оборачивалась трагедией и смертью, а потому эротика практически нет в произведениях Островского (страдающая Катерина в «Грозе» воинственно антиэротична), Тургенева, Достоевского (здесь эротика близка к психической патологии), не говоря о Толстом, увидевшем в самом факте лёгкого женского кокетства («Крейцера соната») непростительный, достойный смерти грех. Любой выход несчастной женщины за выставленные обществом «красные флажки» оборачивался бедой — вот о чём писали и чему ужасались классики девятнадцатого века. Немного смелее и спокойнее на проблему женского неравенства смотрел Чехов, но и его героини («Дама с собачкой», «Душечка») по большому счёту оказывались жертвами окружающей действительности. Живописать испытываемые униженной и оскорблённой женщиной телесные радости было выше сил русских классиков.

Некий прорыв на этом направлении в двадцатом веке совершил Бунин, но уже в эмиграции. Его поздняя, очищенная от жизненных и социальных реалий старой России эротика растворялась в тоске писателя по утраченной Родине, где всё было мило его сердцу. Он возвращал себе Россию через образы некогда любимых женщин, создав особую — ностальгически-патриотическую — разновидность эротики, где удивительно к месту оказывались и «горячий девичий пот» и «тёмный мысок под животом».

Советский период, в принципе, мало что изменил в отношении писателей к теме любви. Постреволюционное, сбросившее цепи капиталистического рабства общество не повелось на пропагандируемую Александрой Коллонтай и Ларисой Рейснер сексуальную свободу, не примкнуло к голым колоннам «Долой стыд», видимым Карлом Радеком по брусчатке Красной площади. Подавляющим эротике прессом вместо прежних социальных «цепей» стал классовый подход к отношениям полов в духе «Сорок первого» Лавренёва и «Любови Яровой» Тренё-



ва. Если классово чуждого возлюбленного можно застрелить или выдать на расправу властям, какая уж тут эротика? В суровых любовных коллизиях, помимо воспитательного, дисциплинирующего общество мотива, угадывалась ещё и ответка за вековую подчинённость русских (и других народов СССР) женщин грубой мужской силе.

Литература послевоенного СССР тоже не отличалась эротическими изысками. И дело не только в цензуре. Сами темы произведений — война, трудовые будни, жизнь деревни, социалистическое соревнование коммунистических бригад — не располагали к эротическим сюжетным поворотам. Удивительно, но определённые достижения здесь обнаруживаются у писателя-фантаста Ивана Ефремова. В запрещённом цензурой романе «Час быка» он изобразил уверенную в себе, свободно идущую навстречу своим (в том числе сексуальным) желаниям женщину. Только она была из далёкого коммунистического будущего, и дело происходило не на Земле, а на неведомой планете. Эротическим можно считать и другой роман Ефремова «Таис Афинская». Но и там телесной любовью наслаждались древние греки, а не советские люди.

До самого своего конца СССР оставался страной отложенной эротики. Она хлынула на книжные прилавки в начале девяностых годов. Появились целые бригады авторов, сочиняющих изощрённую, на грани безумия, порнографию.

Эротика, однако, так и не стала частью русской художественной культуры. «Глубинный народ» отверг её на подсознательном уровне, точно так же, как капитализм в нынешнем виде. Не прижилась русская версия «Плейбоя», быстро сдулись другие эротические издания.

Порнографическая прививка пошла на пользу современной литературе. Матерно-похабный вал, захлёстывавший до недавнего времени практически все «премиальные» произведения стал постепенно сходить на нет. Правда, не появилось и хороших



произведений о любви. Ничего отдалённо напоминающего романтическую повесть «Дикая собака Динго» Фраермана, или чувственно-инфернальный роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Впору вспомнить слова великого пролетарского писателя Максима Горького: «Мерилом всякой цивилизации является отношение к женщине».

Среднестатистической женщине, какая бы цивилизация ни была в России — феодально-крепостническая, императорско-капиталистическая, советская, снова капиталистическая — всегда жилось (и живётся!) трудно. Как, впрочем, и среднестатистическому мужчине. Вот почему большинству граждан современной России, как и во времена СССР, сегодня не до эротики. Их волнуют другие проблемы.

Девушка и сеть

Можно в очередной раз посмеяться над непобедимым стремлением современного человека непрерывно делать селфи, фото, видео, выставлять их в ненасытных, как Молох, и бездонных, как Вселенная, социальных сетях. Можно порассуждать о цифровых технологиях, изменивших общественное сознание, превративших человека в пылинку виртуального мира. Можно вспомнить историю массовых психозов, например, «танцевальную чуму», когда в средневековой Европе целые деревни вдруг пускались в дикий пляс и никак не могли остановиться. Или — эпизод из советского фильма «Железный поток», когда во время Гражданской войны в колонне беженцев кто-то поставил на патефон пластинку с хихиканьем комиков. И вся колонна — дети, взрослые, старики, мужчины, женщины, солдаты, гражданские, пролетарии, интеллигенты — вдруг замерли и зашлись неостановимым — на грани безумия — хохотом.

Смеяться, правда, не хочется.

Вряд ли кто-нибудь сегодня готов отказаться от полезных электронных устройств. Но не превратился ли сам человек в приложение к этим, как пишут



социологи, «формирующим сознание» игрушкам XXI века? Есть нечто сюрреалистическое в многочисленных мигающих голубым светом гаджетах на концертах, научных собраниях, любых массовых, включая панихиды и проводы в последний путь, мероприятиях. В вагонах метро, автобусах люди, даже если едут вместе, почти не общаются. Уткнувшись в экраны, они существуют в других реальностях, видимо, более важных и интересных, чем находящийся рядом знакомый или родной человек.

Сеть можно уподобить некоему всемирному существу, у которого есть душа и тело. Душа – оцифрованное культурное достояние человечества. Тело – «миллионопалый» (по Маяковскому) и neverlasting (бесконечный) репортаж о том, где были, что видели, что съели и далее по списку рядовые солдаты бесчисленной армии Сети.

У Сети много измерений и тайн. Одни исследователи полагают, что поголовная «сетевизация» свидетельствует о катастрофическом снижении интеллектуального уровня населения. Другие рассматривают массовый уход в Сеть, как реакцию на недружественные реалии окружающей жизни. Третьи – что Сеть виртуально воспроизводит все несовершенства человеческой природы, в частности эгоизм и тщеславие, даёт возможность даже самой непримечательной личности заявить о себе, а главное – снискать признание у близкой по уровню развития аудитории.

Сеть многолика и неуловима, как непрерывно вращающееся зеркало. В этом зеркале можно разглядеть и романтику, и погоню за прекрасным мгновением, и тоску по «уходящим объектам», и вечную человеческую мечту о бессмертии.

В своё время недоумение у литературной общественности вызвала немотивированно высокая оценка Сталиным малохудожественного стихотворения Горького «Девушка и Смерть». «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте (любовь побеждает смерть)», — начертал вождь поверх строчек: «Что ж, — сказала



Смерть, — пусть будет чудо! Разрешаю я тебе — живи! Только я с тобой рядом буду, вечно буду около Любви!» Если заменить слово «Смерть» на «Сеть», то откроется (с неожиданной стороны) ещё одна тайна цифрового измерения современной цивилизации. Жизнь становится Сетью, а Сеть — жизнью.

Человек, едва научившись мыслить, начал выражать своё отношению к миру. Сохранилось немало наскальных рисунков первобытных людей. Удивительно, там есть мамонты, саблезубые тигры, бизоны, деревья, даже облака, но крайне редко можно встретить изображение самого человека. В то время человек отнюдь не считал себя центральной фигурой мира, воспринимал окружающую природу и собственную жизнь, как дар свыше.

Сегодня человеческое «Я!» вознеслось превыше природы, здравого смысла, инстинкта самосохранения и прочих важных вещей. Мы живём отражением в зеркале Сети нашего обобщённого «Я». Пока ещё каждый видит в нём то, что хочет. Кто-то — прыгающего котика. Кто-то Настю Рыбку с олигархами и чиновниками. Кто-то — печальное («Мы будем жить плохо, но недолго», как говорил Черномырдин) будущее: задыхающуюся от свалок, превращающуюся в мусор землю, пластиковые острова в океане, отравленные реки, мёртвые леса. Кому-то даже приходит в голову мысль, что это происходит потому, что в мусор превратился сам человек.

Пока ещё Сеть не удаляет такого рода контент. Но кто знает, что будет дальше?

Не будем пессимистами. Зачем грустить, если можно сделать отличное селфи?

Особенная статья и общий аршин

Великий русский поэт Фёдор Тютчев, прожил, находясь на дипломатической службе, за границей двадцать два года, то есть почти третью часть жизни. Свои антизападные публицистические статьи он писал на французском языке. На этом же языке



Тютчев, как сам признавался в письмах, думал. Но восхищавшие современников лирические и философские стихи, ставшие национальным достоянием России, Тютчев сочинял на русском.

Его хрестоматийные, часто цитируемые строчки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить» обычно трактуются как сугубо патриотические, возвышающие непознаваемую сущность России до религиозного символа веры, призывающие человека раствориться в этой вере, покорно смириться со всем, что не нравится в Отечестве, принять всё, как есть.

Но есть и другое понимание этих строчек. Заниматься политикой в России, говорил Тютчев, всё равно что высекать искру из куска мыла. То, что невозможно понять умом и измерить общим аршином не может быть истиной по причине своей недоказуемости. Вера — категория надмирная, не нуждающаяся в логических доказательствах. Вера может оказывать движителем в сторону счастья и справедливости, но может и — противоположно на этом пути.

Историческая судьба России — перманентное несовпадение духовного содержания общественных идеалов с формой и методами государственного управления, колеблющиеся весы, на одной чаше которых — не религиозная, но гражданская вера в «равенство, братство, счастье», на другой — «свинцовые мерзости жизни», бескрайний горизонт ошибок и глупостей, совершаемых существующей в данный момент властью.

Декабристы, сплошь молодые люди, вышли на Сенатскую площадь, желая воплотить свою веру в новую — республиканскую — форму власти. Закончилось всё многолетней «подморозкой» страны, поражением в Крымской войне, запоздалыми и половинчатыми реформами, приведшими в конечном итоге к свержению монархии и пролетарской революции.

Октябрьская революция сверху творилась больше-



виками-интернационалистами, но снизу — силами молодых людей, вчерашними солдатами и офицерами Первой мировой войны, рабочими, крестьянами, поверившими в справедливость нового социального строя. Они учились и строили с нуля страну, победили в страшной войне, поднялись в космос, вывели в послевоенные годы СССР на второе место в мире по уровню развития, но к концу восьмидесятых годов вера в социализм иссякла, ум отключился, аршин сломался.

Вера опасна своей персонификацией. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Имена в песне Юза Алешковского можно менять, но горькую сущность «романа» между властью и обманутым ею обществом изменить невозможно. Нет идеи, в которую можно верить бесконечно. Единица измерения бесконечности — поверивший не в идею, но в то, что он может сделать лучше, человек.

Подтверждение этому — примеры Тютчева-дипломата, Пушкина-историографа, Лермонтова-офицера, Бородина-учёного, многих других, прославивших Россию, великих людей. Им было мало творчества, они искали и находили себя в других общепольных делах. Но чтобы поверить в себя, человек должен знать историю и культуру своей страны, понимать характер народа, его слабые и сильные стороны, видеть в нём не «дрова» для очередной революции, но строительный материал для бережного возведения надёжного и удобного — на века! — здания, где будут жить не только нынешние, но и следующие поколения. Этого можно добиться, только неустанно повышая уровень своей культуры, приобретая новые знания и опыт, используя их в обыденной жизни. Только тогда «особенная статья» ляжет под «общий аршин», и все увидят её реальный размер. Сила веры всегда пропорциональна силе разочарования. Россию не следует ни иступлённо любить, ни революционно ненавидеть. И первое, и второе — от внутренней пустоты и недо-



статка культуры. Верить в Россию, по Тютчеву, означает верить в себя, в своё желание измениться самому и изменить жизнь к лучшему. Ну а с чего начать, каждый решает сам.

Долгий выбор

Великий русский поэт Фёдор Тютчев не только сочинял гениальные стихи, был дипломатом и публицистом, но и с февраля 1848 года (сразу после возвращения из-за границы) служил старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел. Он оставался цензором почти до самой своей смерти в 1873 году.

По воспоминаниям современников Тютчев был весьма либеральным цензором. В поданной в 1857 году записке тогдашнему министру иностранных дел А.М.Горчакову он признавал, что «...последние годы цензура тяготела над Россией как истинное общественное бедствие». И продолжал: «...нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет, без существенного вреда для всего общественного организма». Кстати, именно Тютчев первым употребил термин «оттепель», имея в виду эпоху Александра II, когда: «...наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умам недостававший им простор». И именно с Тютчевым спустя годы, накануне первой русской революции, спорил обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, полагавший, что оттепель зашла слишком далеко и пришла пора «подморозить Россию».

На дарованный простор цензор Тютчев, однако, не пустил сочинённый Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом «Манифест коммунистической партии», посчитав перевод и распространение «призрака коммунизма» нежелательным для вступившей в сложный предреформенный (отмена крепостного права) период России. Уж кто-кто, а Тютчев, превосходно владевший немецким языком



и внимательно следивший за интеллектуальной и общественной жизнью Европы, не мог пройти мимо таких «открытий» основоположников новой идеологии: «Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо-европейской расе. Они пришельцы, которых надо выгнать обратно за Днепр» (Маркс), или: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы — Россию». «Призрак» проберётся в Россию гораздо позже и нелегально. Он задержится в ней на семьдесят с лишним лет, чего Тютчев знать естественно, не мог.

Об этом деянии Тютчева уместно вспомнить сегодня, когда в обществе оживилась, вызванная статьёй Владислава Суркова «Долгое государство Путина», дискуссия о пути России и «глубинном народе», каждый раз и во все времена выстраивающим цезаристскую (с превосходящим меру поклонением первому лицу) модель государства с «безмолвствующим» пассивным большинством и феодальными методами управляющим им меньшинством. Сурков подводит под один знаменатель итоги правления Ивана Грозного, Петра Первого, последних русских императоров, Сталина и делает вывод, что умеренно авторитарная модель оптимальна для России и, более того, является «точкой сборки» для других, изнывающих под игом глобализма стран. По мнению Суркова сегодня другой призрак (не коммунизма, а... не буду называть) бродит по Европе.

У Тютчева, так же, как у Константина Леонтьева, Ивана Аксакова, Константина Победоносцева, других русских философов-консерваторов, был иной, менее конъюнктурный и сервильный взгляд на «глубинный народ». Да, русский мужик терпел и опричнину, и петровскую «ломку», и «золотой век» Екатерины II, и последнего Николая, но, дотерпев до «точки разборки», каждый раз дотла разрушал «оптимальную» модель. И тогда страну сотрясали



бунты Болотникова, Разина и Пугачёва, в Смутное время на престол садился Лжедмитрий, Александр II погибал от бомбы террориста, большевики превращали императорскую Россию в пыль.

Поэтому Тютчев мучительно искал идею, способную гармонично примирить «верхи» и «низы», уберечь общество от «потоков крови и немислимых ужасов анархии» (Константин Леонтьев). Он нашёл её в поэзии — в конечности человеческой жизни и непознаваемом величии Божьего Промысла, но не мог нащупать в политике, искренне, в отличие от Достоевского, веря в объединение всех славянских народов в некую счастливую, живущую по законам справедливости общность.

История до сих пор так и не дала ответа на вопрос, существует ли способ предотвращения «минут роковых» в жизни народов? Тютчев, в отличие от Владислава Суркова, всё же видел его не в отсутствии выбора и «подморозке» того, что есть, а в том, чтобы жизнь общества была «...настолько искренна и свободна, насколько состояние страны может это дозволить». Выбор был, но сделать его должен был не «глубинный народ», а «верхи». Провозгласить удобную и сладкую для «верхов» действительность вечной и неизменной, или услышать «глубинную» мысль народа о свободе, достоинстве и справедливости, и изменить жизнь к лучшему.

Это — лучшее средство от любых призраков.

Головная боль цивилизации

Конфликт отцов и детей — одна из основ мироздания и мировой культуры. Эдипов (отец — сын) и Электры (мать — дочь) комплексы — фундамент того, что сегодня называется общественной моралью. Две её составные части — подчинение и — одновременно — сопротивление детей опыту и мировоззрению родителей, их стремление жить своим умом, критическое отношение к установленным нормам в повседневной жизни, искусстве,



культуре и (это, пожалуй, главное!) в политике — головная боль человеческой цивилизации во все времена. Вечное обновление происходит через непрерывное отрицание авторитетов — родителей, школы, общественных институтов, власти. Эрос (любовь) и Танатос (смерть) вступают в непреодолимое противоречие. На стороне «детей» — Эрос во всём своём креативном могуществе, на стороне «отцов» — Танатос, с помощью которого они пытаются продлить собственное (жреческое) существование, остановить то что нельзя остановить — биологическую «вечную весну». Её невозможно возглавить, обмануть омолаживающими технологиями, спортом, стилистикой, разного рода симулякрами. Она в силу своей природы убирает сопротивляющееся старое, расчищает дорогу новому, которое всегда кажется ужасным, нелепым, бессмысленным, не имеющим право на жизнь.

Даже Сталин оставил пометку на рукописи Горького: «Любовь побеждает смерть». Но это в классическом искусстве. В жизни и политике всё сложнее. Идея «подморозить Россию» не нова. В трудах видного идеолога консерватизма конца девятнадцатого века Константина Победоносцева немало здравых идей. Но беда любых здравых идей в необъяснимом сопротивлении тех, ради кого они, собственно, провозглашаются, а именно идущих следом за авторами идей поколений.

Момент, когда неповиновение «детей» выходит за допустимые (синие или красные волосы на голове, голые щиколотки, чёрные губы и ногти, непонятная музыка, мат в сетях и т. д.) пределы и превращается в массовое (само)убийство — тревожный сигнал для общества, третий звонок перед приглашением на спектакль, смотреть который мало никому не покажется. Танатос не может победить Эрос. Но «подмороженный» Танатосом Эрос обретает патологическую, убийственную, разрушительную силу, направленную вовне и вовнутрь молодёжной среды, превращается в ядерный реактор скрытого, отло-



женного действия.

В списке самых читаемых человечеством книг наряду с Библией, «Капиталом» и «Гарри Поттером» вот уже который год держится роман «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Собственно, и «Гарри Поттер» оказался в этом списке не из-за описания колдовских страстей, а из-за скрытой темы противостояния между молодым человеком и лживым и подлым взрослым миром, неустанно порождающим чудовищ, с которыми сражается герой книги.

Конфликт отцов и детей приобретает планетарные масштабы. Существующая общественно-экономическая модель, когда большая часть населения планеты остаётся за чертой нормальной жизни и не имеет шансов изменить свою судьбу переживает кризис.

Россия всегда славилась терпением и верой в то, что власть всё сделает и управит так как надо. Эта вера была поколеблена в кровавое воскресенье 1905 года. Результат известен. В 1991 году по этой же причине (вспомним «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына) перестал существовать СССР. Так называемый застой – комфортная среда Танатоса. Застой, помимо замедления всего и вся, — ещё и предельное упрощение в решении сложных вопросов. Застой — генератор примитивных, отложенного вреда решений типа запретов концертов, чистки мессенджеров, задержания под надуманными причинами популярных рэперов, неуклюжей пиар-компании против того, что называется молодёжной субкультурой.

Возможна ли гармония между Эросом и Танатосом, наступающими детьми и не желающими отступать отцами? Наверное, нет, но (теоретически) возможно перевод процесса на мирные рельсы. Но это только в том случае, если сами «отцы» не утратили креатива, если они способны предлагать «детям» новые смыслы, если у них самих есть выходящее за рамки «держаться, не пущать и наслаждаться жиз-



ню» понимание будущего.

Так что дело за малым.

«Детские» новости

Их называют по-разному и даже выстраивают некую устремлённую в туманное будущее спираль: дети индиго, поколение альфа, одуванчики, кристальные, радужные... Появились взрослые гуру, доказывающие превосходство представителей новых поколений над своими родителями, бабушками и дедушками. Делаются смелые предположения о генетической революции, способной в скором времени изменить мир.

Мир, однако, не становится лучше. Человеческая цивилизация, как утверждают серьёзные учёные, не говоря о пророках и экстрасенсах, балансирует на грани самоуничтожения. Если не от ядерной войны, то от экологической катастрофы, критического изменения климата, употребления ГМО-продуктов, нашествий, сносящих границы, мигрантов, чудовищного загрязнения среды обитания выхлопными газами и ядовитым мусором.

Могут ли при таких исходных данных родиться здоровые, сильные, приспособленные к жизни дети? Статистика свидетельствует об обратном. Надежды, что мир спасут дети-одуванчики, сродни вере в чудо, в то, что Господь всё управит поверх голов неразумных людей.

Мне кажется, что сам факт признания существования «особенных» детей свидетельствует о том, что человеческая цивилизация возвращается в инфантильное детство, когда кажется, что достаточно закрыть глаза, спрятаться в шкафу — и опасность уйдёт, пожар в доме погаснет, всё само собой наладится.

Мы давно существуем в «детской цивилизации» с её перепадами настроения, взаимоисключающими суждениями, «белым» и «чёрным» информационным шумом, иллюзией, что впереди долгая жизнь и времени хватит на всё. Детская безответственность



пронизала общество: чиновники произносят хамские речи, управляющие компании не чистят улицы, экономисты не знают, растёт или сокращается в стране производство и каким будет завтра курс рубля. Наверх по социальной лестнице по принципу стихийно сложившегося детского коллектива поднимаются не самые умные и ответственные, но самые злые, лживые и «отвязные» (вспомним роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух»). Дети (не все, но многие) охотно и самозабвенно врут, мгновенно забывают о том, что говорили вчера, увлечённые новыми идеями и проектами, крайне редко доводят какое-то дело до конца. Рекламная, политическая и прочая ложь, невыполненные обещания, брошенные на полпути дела стали воздухом современной жизни.

У «детской цивилизации» есть и социокультурное объяснение. Преимущество — непереносимое условие успешного и стабильного развития общества. Опыт поколений, сформировавшихся во время СССР, в практическом и духовном плане оказался малоприспособленным для поколений девяностых. Дед может научить внука премудростям рыбной ловли, но вряд ли даст ему правильные жизненные ориентиры для существования в современной компьютерно-цифровой реальности. Дети осваивают новые информационные и прочие технологии гораздо быстрее и полнее родителей, уходят в социальные сети как в «чёрную дыру», легко преодолевая выставленные родителями, школой и прочими ответственными за их воспитание ведомствами запреты.

В бытность председателем КГБ Юрий Андропов заметил: «Мы не знаем общества, в котором живём». К современному обществу эти слова применимы в неизмеримо большей степени. Общество гаджетов и мессенджеров, выражающее себя в двухстах знаках с пробелами, партизански укрывшееся в социальных сетях, всё дальше уходит от семейных, национальных, религиозных и прочих традиционных основ.



Оно невидимо и деятельно ваяет нового, неведомого человека, и этот процесс уже не остановить.

Если и дальше не обращать внимания на такие «детские» новости, как участвовавшие в школах случаи насилия, а ещё на то, что в некоторых регионах России, особенно в сельских школах, дети начали падать в голодные обмороки.

Огни на Титанике

Чем дальше в лес, тем сильнее, казалось бы, оставшаяся в прошлом советская литература начинает напоминать погружающийся в ледяную воду «Титаник». Но странным образом на «Титанике» по-прежнему светятся иллюминаторы, а из глубины доносится ностальгическая музыка, исполняемая переставшим существовать оркестром. Иногда даже кажется, что «Титаник» более реален, нежели пришедшие ему на смену современные водоплавающие объекты.

Основанное в 1933 году издательство «Детская литература» («Детгиз», как называли его авторы и редакторы) занимало на «Титанике» видное и достойное место. Миллионные тиражи, русская и мировая классика, сотни талантливых авторов и равнодушных к своему делу редакторов формировали, регулировали и удовлетворяли читательские запросы подрастающих поколений. «Детгиз» брал за руку едва-едва научившегося читать первоклассника и вёл его по жизни, предлагая книги на любой вкус. Это была та самая системность, делавшая советское школьное образование лучшим в мире, а советских школьников — самыми знающими и толковыми школьниками в мире.

Но «Детгиз» был славен не только авторами (помимо Агнии Барто и Сергея Михалкова для детей сочиняли Валентин Катаев, Юрий Олеша, Константин Паустовский, Фазиль Искандер, другие замечательные писатели), а ещё и уникальными, прекрасно понимающими литературу редакторами. Это они,



невидимые и незаметные, доводили до уровня шедевров произведения, которыми дети зачитываются и сегодня. Редакторы «Детгиза» вкладывали в работу душу и опыт, понимали возможности и уровень писателей, были в курсе новинок зарубежной детской литературы. В этом смысле издательство было фабрикой, выдававшей востребованную и качественную продукцию.

Советская детская литература была идеологизирована (рассказы о Павлике Морозове, детских годах Ильича, пионерах-героях, тимуровцах и т. д.), но в ней присутствовал неукротимый дух подвига, жажда знаний, стремление к справедливости, мечта и желание сделать мир лучше.

В Москве и Ленинграде, где были отделения издательства, сложились сильнейшие команды авторов, считавших за честь писать книги для детей. Они участвовали в ежегодных «Неделях детской книги», встречались с читателями и учителями, проводили уроки литературы в школах.

Говорят, что и сегодня в России есть талантливые авторы, сочиняющие хорошие книги для детей. Но между современной и советской детскими литературами есть мировоззренческая разница. Сознание ребёнка идеалистично и романтично, оно инстинктивно ищет пример для подражания, героя, которому хочется верить. Советская литература была литературой социального государства, где бабушки и дедушки получали пенсии, мамы и папы работали, все бесплатно учились и лечились, отдыхали в санаториях и пионерских лагерях, а книги стоили копейки. Это был близкий и понятный маленькому человеку (дети доверчивы) мир, побуждавший его (в том числе и через литературу) соответствовать честным и мужественным героям. Какой «набор истин» предлагают юному читателю современные авторы? Способен ли он сделать его решительнее, отважнее и сильнее? Как, вообще, трактуется в нынешней детской литературе понятия добра, справедливости и чести?



Писательница Лидия Сычёва описала милый эпизод явления олигарха в городок, где находилось принадлежащее ему предприятие. Повод был хорош — первая служба в построенном на деньги олигарха храме. Там присутствовала и его дочка — ученица первого или второго класса. Оглядев собравшихся в храме людей, она громко спросила у отца: «Папа, это всё наши рабы?» Интересно, какие детские книжки успела прочитать маленькая умница?

В девяностые годы «Детгиз» был разрушен. Сегодня издательство неуверенно ютится где-то на окраине Москвы в промзоне. Но прошедшая через него детская литература продолжает жить. Уже без определения «советская».

Разбитое зеркало

По государственным (или приравненным к таковым) литературным премиям можно изучать эпоху и делать выводы о состоянии общества — определять крепость его мускулов, живость воображения, степень готовности защищать свои идеалы и своё понимание будущего. Уникальным явлением в русской (советской) культуре были Сталинские премии в области литературы и искусства, просуществовавшие с марта 1941 по 1956 год.

Усатая тень с трубкой склонялась не только над расстрельными списками, планами индустриализации и военными картами, но и над страницами книг, литературных журналов, пьес и сценариев, репродукциями картин, архитектурными проектами, изображениями памятников и монументов. По свидетельству Константина Симонова, входившего в комиссию по присуждению Сталинских премий и многократного их лауреата, Сталин читал выдвинутые произведения и лично определял кому какую степень присудить. Из Кремля как будто протягивалась божественная нить, преобразавшая душу и сознание художника, наполнявшая его ощущением сопричастности великой эпохи, желанием ещё выше



взметнуть творческую планку. И эта схема работала. Внутри неё творили Михаил Шолохов, Леонид Леонов, Константин Паустовский, Александр Твардовский, Василий Гроссман, Илья Эренбург, и прочие вошедшие в историю русской и советской литературы авторы.

Перечень лауреатов Сталинских премий по литературе — не только слепок культурных предпочтений того времени, но и свидетельство «заархивированного» потенциала социализма. В отвалах уже никому ничего не говорящих имён и произведений как будто расставлены вехи, указывающие на (теоретическую) возможность надклассового и надпартийного пути развития литературы и искусства. Виктор Некрасов получил свою премию за фронтовую прозу «В окопах Сталинграда», Вениамин Каверин — за роман «Два капитана», Александр Твардовский за «Василия Тёркина», молодой Юрий Трифонов — за роман «Студенты», Самуил Маршак — за переводы сонетов Шекспира, Михаил Лозинский — за перевод «Божественной комедии» Данте. Коллективный творческий дух народа выражал себя в этих и других выдающихся произведениях. «Отец народов» прекрасно это понимал, а потому лично контролировал и направлял литературный процесс.

Последним руководителем, проявившим интерес к литературе, в нашей истории был Хрущёв. Он, правда, в отличие от Сталина сам произведений не читал, но не возражал, когда ему читали вслух. Так в премиальной политике едва не случился солженицынский «прорыв», когда Ленинскую (Сталинские были отменены в 1956 году, а в 1966 году в дополнение к Ленинским были учреждены Государственные) премию едва не получил Александр Солженицын за «Один день Ивана Денисовича». Но система отыграла назад — в застой. Сам Солженицын рассматривал эпопею с несостоявшейся Ленинской премией, как возможный поворотный момент в развитии страны — от «жестокого вынужденного» сталинизма — к социализму с человеческим лицом. Не случи-



лось.

В период «развитого социализма» премии превратились в унылый бюрократический марафон многонационального литературного начальства Союза писателей СССР. Определённые правила приличия, впрочем, соблюдались. Лауреатами становились Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев, Нодар Думбадзе, другие любимые читателями, а не начальством авторы.

Все последующие советские и российские вожди хранили свои читательские предпочтения в тайне. Хотя Дмитрий Медведев в бытность президентом признался, что почитывает Пелевина.

История литературных премий СССР и современной России – это история постепенного убывания интереса государства к культуре, замещения её шоу-бизнесом, попсой, непристойными театральными и грубо идеологизированными (в основном против советского прошлого) сериально-книжными проектами. Сегодня «премиальное зеркало» расколото. Оно отражает пустоту. Статус президентских и правительственных премий по литературе не прояснён, они присуждаются по-тихому, без обсуждения выдвинутых произведений в прессе и на ТВ. Редко кому удаётся назвать имена авторов и произведений, удостоившихся этих премий.

Куда более известны и популярны в литературной среде «престижные» премии – «Большая книга», «Ясная поляна», «Букер», «Национальный бестселлер». Но это сугубо коммерческие проекты, свидетельствующие об отсутствии в стране естественного литературного процесса, разрыве культурного пространства. Крупное издательство «ведёт» автора к премии, тратит деньги на рекламу, имея в виду предстоящую реализацию тиражей. При этом автор не занимает места в литературном «ряду», не становится моральным и творческим ориентиром для общества, иногда вполне обходясь псевдонимом типа «Фигль-мигль». Эти премии (за исключением, может быть, «Ясной поляны») – весёлая скандаль-



ная игра, вполне вписывающаяся в мировую тенденцию «антикультурной революции». В качестве примера можно привести трансформацию Нобелевской премии по литературе. В своё время её получали Хемингуэй, Фолкнер, Маркес, Кнут Гамсун, Томас Манн, Иван Бунин. Сейчас лауреатами становятся рокеры шестидесятых годов, авторы «поточков сознания» из Интернета или малохудожественной, политизированной публицистики.

Сталинские премии по литературе останутся в истории как великий неосуществлённый проект невозможного в реальной жизни единения народа и власти в создании опять-таки невозможного социального строя, где культура и искусство побуждает людей к подвигам и свершениям во имя светлого будущего.

Сегодняшнее мироощущение среднестатистического россиянина неплохо сформулировал Виктор Пелевин в своём предпоследнем романе, кстати, выдвинутом на премию «Большая книга»:

«Жить хо, но бо». Расшифровать, видимо, следует так: Жить хочется, но больно. Или боязно.

По писателям — и премии.

Срок годности и знак качества

Значение Александра Солженицына для мировой литературы XX века в конечном итоге будет оцениваться по воздействию его произведений и его личности на советское общество в постсталинский период. Солженицын взял на себя роль ветхозаветного пророка, сказавшего народу и властям многократно усиленную личной многолетней ненавистью к советскому государству правду. Эта правда перенастроила сознание интеллигенции, которую он вскоре презрительно обзовёт «образованщиной». Прозу Солженицына можно уподобить неуловимой экскаваторной «бабе», бившей и бившей через самиздат в здание ветшающего советского государства. Самое же известное его произведение докумен-



тально-публицистическое исследование «Архипелаг ГУЛАГ» — стало последним и неотразимым ударом в критичную точку идеологизированного государственного монолита, слинявшего в 1991 году, как некогда писал Василий Розанов про императорскую Россию 1917 года, «в три дня». Едва ли в мировой литературе существовало произведение, сконцентрировавшее в себе столь мощный разрушительный пафос.

Аввакумовская страсть Солженицына, однако, потеряла свою магическую силу после возвращения писателя из эмиграции на Родину. Начиналось всё хорошо: поезд через всю страну с остановками в разных городах, восторженные толпы, приветствовавшие Солженицына, как Горького в начале тридцатых годов, разговоры о выдвижении писателя в президенты России. Но потом что-то разладилось. Солженицын блистательно исполнил свою миссию, как обличитель и разрушитель ненавистного строя, но не состоялся, как созидатель и моральный авторитет для новой, капиталистической России. Она не нуждалась в такого рода авторитетах. Полным ходом шли реформы, приватизация, делёж советского наследства. До Солженицына ли тут было? Тем более, что и сам он довольно быстро уяснил, что за люди пришли к власти и чего от них ждать стране и народу.

Попытки писателя подтянуть к себе идеологическое «одеяло» были встречены прохладно не только новыми хозяевами жизни (это объяснимо), но и читателями. Хотя многотомная эпопея о февральской революции «Красное колесо», очерк «Россия в обвале», призывы развивать на местах местное самоуправление, наконец эпохальный труд «Двести лет вместе» — всё это развенчивало миф о том, что Солженицын — агент ЦРУ, а главная цель его жизни — уничтожение коммунизма. Писатель пытался давать власти разумные советы по раскрепощению народной инициативы, привлечению



людей к реальному, а не виртуальному участию в делах страны. Именно Солженицын первым заговорил о русском народе как самом большом разделённом народе в мире. Но его рецепты не работали во внеидеологизированной, ориентированной исключительно на деньги как меру всех вещей, среде. Он перестал появляться на экранах ТВ, превратился из «вермонтского» в «троицко-лыковского» затворника.

Мощь, талант, влияние писателя и человека Солженицына, столетний юбилей которого приходится на одиннадцатое декабря 2018 года, имели свой срок годности и знак качества — пока существовал СССР.

Лично у меня в последние годы не возникало желания читать и перечитывать этого автора, хотя «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «В круге первом», «Август четырнадцатого» — значительное явление в русской литературе. Тем не менее, мне кажется, что превратить Солженицына в икону современной России, какой был Горький для СССР, не удастся. Даже если потратить на юбилей писателя много сил и средств. Время, включившее высшую скорость в годы его борьбы и движения к литературному (Нобелевская премия) и политическому (крах СССР) триумфу, как будто ударило по тормозам. Тень разрушенного СССР странным образом светлеет и поглощает, растворяет в себе Солженицына.

Время, конечно, может столь же непредсказуемо (а такое иногда происходит в России) обратиться вспять. Тогда срок годности и знак качества произведений Александра Исаевича Солженицына вновь обретут могучую силу.

Свой-чужой

Сформулированное живущим в США писателем Юрием Милославским понятие «искусственный культурный контекст» относится не только к худо-



жественной литературе, когда читателю навязывается сконструированная автором, как правило предельно критичная по отношению к прошлому, настоящему и будущему России реальность. Рекламная кампания, восторженные отклики рецензентов, премии, объявление данного произведения бестселлером и «лидером продаж» во всех книжных магазинах страны способствуют превращению сконструированной реальности в некую внедряемую в сознание читателя матрицу, куда затем легко закачиваются идеи и смыслы, выходящие за рамки литературы.

Это, во многом определяющее сегодняшнюю культурную политику явление одновременно существует и не существует. Не существует по причине отсутствия термина, объясняющего его природу. В годы великой французской революции в стране массово уничтожались культурные и религиозные артефакты. Тогдашние лидеры Франции, хоть и были пламенными революционерами, всё же понимали значение искусства в жизни общества. Они не знали, как остановить разрушителей, пока один аббат (тоже, кстати, революционер) не назвал погромы храмов и дворцов, уничтожение картин и скульптур «вандализмом» по имени германского племени, некогда захватившего Рим. Был немедленно принят суровый закон против вандализма, и погромы прекратились. Сегодня никому не надо объяснять, что означает слово «вандал».

Советская власть учла ошибки своих европейских предшественников. Она придумывала и вколачивала в массовое сознание термины на все, даже несуществующие, случаи жизни. Обществоведение социалистической эпохи – непроходимый лес из марксистско-ленинско-сталинских определений, объясняющих всё и вся, но не дающих понимания истинной сути происходивших событий. Скорее наоборот. Нельзя сказать, что сбросившее «накладные усы и бороды основоположников», как писал Солженицын, обществоведение новой России



целиком и полностью отказалось от этого метода.

К примеру, в годы сталинских репрессий (а это не только истребление «ленинской гвардии» в конце тридцатых, но, прежде всего, коллективизация и ликвидация целых социальных слоёв бывшей России – священников, дворян, купечества, научной элиты и так далее), даже по данным спорной современной статистики, больше всего погибло представителей русского народа. Но если уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны получило многозначный и никем не оспариваемый термин «Холокост», а голод тридцатых годов на Украине обрёл научное название «голодомор», геноцид русского населения во времена советской власти своего определения до сих пор не получил. Более того, искусственный контекст и сконструированная реальность в «премиальной» литературе и общественно-политическом «дискурсе» делают именно русский этнос (уже не по умолчанию, а на уровне подсознания самих представителей этого этноса) ответственным за все трагедии коммунистического периода.

В современном цифровом, информационном, фейсбучном, сетевом и прочем обществе очень трудно (особенно молодым, рождённым после СССР людям) сохранить интеллектуальную независимость, выработать собственные принципы понимания происходящего. Как это сделать, если отсутствуют научные и социологические дефиниции, объясняющие происходящие в мире и стране процессы? Какая социальная группа (раньше употребляли слово «класс») является сегодня, говоря марксистским языком, «гегемоном», определяющим исторический и прочий прогресс? Маркс в позапрошлом веке объявил таковым пролетариат, но он исчез вместе с индустриальным экономическим укладом. В конце прошлого века гарантом стабильности и социального гуманизма считался «средний класс». Сегодня под напором мигрантов, политики толерантности и мультикультурализма, цифровой техниче-



кой революции и смены приоритетов человеческой цивилизации (вместо космоса – смартфоны, вместо социальной гармонии и справедливости – «новый капитализм», когда один процент населения планеты владеет девяноста семью процентами её активов) на первый план в качестве наиболее активного и всё настойчивее диктующего свою волю сословия выдвигаются различные меньшинства, начиная от сексуальных и заканчивая любыми другими, включая самые экзотические.

У этого (опять нет термина!) объединённого сообщества имеются свои идеологи, свои представители в правительствах и международных организациях. Законодательства многих стран перелицовываются под неясные, зачастую противоречащие человеческой природе, требования нового креативного класса. Это особенно заметно в культуре, литературе, архитектуре, изобразительном искусстве, не говоря уже о музыке и шоу-бизнесе. Идеологическую платформу нового «гегемона» можно определить, как противостояние сложившимся в том или ином обществе культурным, национальным, бытовым, религиозным, научным, образовательным и прочим традициям. Плюс наказание большинства за многовековые гонения. Именно этим целям служит внедрение через продвигаемую издательствами-монополистами премиальную литературу в умы молодых читателей искусственного культурного контекста, а через другие социальные механизмы – уже в повседневную жизнь общества – сконструированной и, как правило, враждебной человеку реальности, типа платной медицины, очередных образовательных стандартов, пенсионных новаций, безальтернативного (всё навсегда останется, как сейчас) будущего. Вот почему обращение к традициям, простым и понятным человеческим представлениям о добре и зле становится одним из способов сохранения природной идентичности, здорового взгляда на мир, опознавательным сигналом «свой – чужой» в понимании жизни и отношениях с другими людьми.



Классика и мы

Знаменитая дискуссия под таким названием состоялась 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов. Советская власть была крепка, произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Некрасова выходили миллионными тиражами — казалось бы, о чём спорить? Однако сугубо литературная дискуссия резко обозначила линии размежевания советской интеллигенции, идеологический кризис общества, обернувшийся спустя десять с лишним лет концом СССР.

Классика не определяет историю, но предупреждает об опасностях, подстерегающих страну и народ. Присутствие классики в повседневной жизни общества — показатель его здоровья или болезни. Насилие над классикой (сегодня это происходит в театре и кино) — свидетельство нищеты духа, торжества фарса, карнавализации (по Бахтину) культуры, реагирующей таким образом на утрату смыслов и целей — того, что Блок называл «чувством пути».

Каждый народ ваяет в классике собственную (по Достоевскому) модель «всечеловека». Невидимый конкурс будет продолжаться, пока существуют искусство и литература. Классика — извлечение на свет божий неунничтожимого национального background'a, определяющего место страны и народа на карте человеческой цивилизации. Лев Толстой называл это «мыслью народной». В центре большинства пьес Шекспира — вулкан трёх англосаксонских страстей: власти, денег и свободы распространять своё понимание этих вещей на оставшийся мир. Западноевропейская классика — гимн протестантскому характеру, уважающему труд, право и в разное время по-разному понимаемое общее благо. Здесь и Киплинг с «бременем белого человека», и Гамсун с менее романтичной (после победы над фашизмом норвежский писатель был осуждён, но в силу преклонного возраста оставлен в покое) трактовкой этого «бремени». Сердце русской классики — не личность, не характер, но бесправный человек



(пушкинский Евгений) и государство (Медный всадник), топчущее его своими копытами, движение от «рабствования в тишине» (Карамзин) до безумного «тварь я дрожащая или право имею?» (Достоевский). Как здесь не прочертить линию от монгольского ига до Октябрьской революции 1917 года?

Писатель Эдуард Лимонов считает, что наша классика устарела, срок её годности истёк. Психический тип и душевный уклад человека, который исследовали в своих произведениях Чехов, Толстой, Решетников, Гаршин, Писемский, по мнению Лимонова, растворился во времени. Ушли реалии времени — ушёл вкладываемый авторами в произведения смысл. Людям двадцать первого века непонятны душевные терзания и мотивы поведения героев классических произведений.

С этим можно поспорить. Русская классика вечна не «бедной Лизой», хотя и ей тоже, но кувшинными рылами Гоголя, глуповцами и играющими две мелодии «Разорю!» и «Не потерплю!» органчиками Салтыкова-Щедрина, унтерами Пришибеевыми Чехова, некрасовским «Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона», прочими образами и коллизиями неисчерпаемого срока годности.

Классика, несмотря на равнодушное отношение к ней государственных мужей, хранящих свои читательские предпочтения в тайне, пронизывает дискурс в соцсетях, прочих площадках вольного общения граждан. Молодые люди, родившиеся значительно позже судьбоносной дискуссии 1977 года, знают и любят классику гораздо сильнее современной литературы. Цитаты из Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Глеба Успенского, Пушкина, Лермонтова стали острой приправой к большинству постов на социальные, исторические и политические темы. Это и есть ответ на вопрос, что классика говорит нам о самих себе сегодня? Гораздо менее очевиден ответ на вопрос, по каким произведениям современных авторов будут судить о нас потомки?

Дискуссия «Классика и мы» не затихает, а это значит, что жизнь продолжается.



Анна Ахматова: «Разрешите поехать в Кисловодск...»

Кавказские Минеральные Воды Анна Ахматова посетила в жизни лишь один раз, когда летом 1927 года ездила на отдых и лечение в санаторий Цекубу (Центральная Комиссия улучшения быта учёных).

Бывшее владение Нагорского — трёхэтажный жилой дом в двадцать комнат — в Кисловодске, в красивейшем месте курорта с потрясающим видом на город, на Крестовой горе, по адресу: ул. Крестовая, 9 Цекубу взял в апреле 1923 года у города в аренду для организации южного санатория специального типа. Мандат на заведование санаторием получила Е.Б.Бронне. В 1926-м здание было закреплено за санаторием Цекубу, к нему было присоединено и второе (позже — санаторий имени А.М.Горького Российской академии наук).

Атмосфера, чистый воздух, красота природы города-курорта Кисловодска, приятное общество — всё это и делало санаторий весьма популярным и престижным в среде отечественной интеллигенции.



**АЛЕНА
СУГОРОВСКАЯ**

Литературо- ведение





Попасть в Кисловодск или любой другой южный санаторий в те годы являлось делом непростым, поскольку все лечебные учреждения подобного типа были расписаны по разным государственно-партийным ведомствам. У Анны Ахматовой, как человека свободной профессии, такие права сводились к минимуму, и надо было прибегнуть к бюрократическим уловкам для зачисления её в ранг советских служащих, обретающих возможность социальных льгот. Кто именно поспособствовал получению путёвки для Ахматовой в санаторий Цекубу неизвестно. Лукницкий говорит об этом так: «помогли друзья». Во второй половине 1920-х годов Ахматова жила ещё в Ленинграде «на два дома»: то у В. Шилейко в Мраморном дворце, то у Н.Пунина в Шереметевском. И хотя 16 ноября 1926-го уже получила прописку в пунинской квартире, всё равно в начале 1927-го в заявлении в Центральную комиссию по улучшению быта учёных написала: «Ввиду того, что в настоящее время у меня нет прочного местожительства, прошу направлять впредь предоставляемое мне Цекубу денежное обеспечение Н.Н. Пунину (Ленинград, Фонтанка 34, кв. 44) для передачи мне. Ахматова». «Нет прочного местожительства» — это потому, что переезд Ахматовой в Фонтанный Дом был осложнён тем обстоятельством, что там оставалась жить на правах друга и матери их общего ребёнка первая жена Пунина Анна Евгеньевна Аренс вместе с дочкой Ирочкой. Окончательно Ахматова переберётся в Фонтанный Дом только в 1929-м, когда необходимо будет освободить выделенную на время В. Шилейко от Института материальной культуры служебную площадь в Мраморном дворце.

Для всех троих — Николая Пунина, Анны Евгеньевны и самой Ахматовой — не было другого выхода,



кроме как принять происшедшее как данность, по возможности сохраняя дружеский стиль отношений.

В 1926 году Ахматова много болела. 27 декабря 1926 года П.Н.Лукницкий писал Л.В.Горнунгу: «А.А. больна — лежит; очень боюсь, что у неё опять обострение туберкулёзного процесса». 27-м января 1927 года датирована запись В.А.Рождественского — «Анна Андреевна сейчас больна, лежит уже несколько недель. Ей вреден наш климат, но Петербург она не хочет покидать ни за что».

Покидать Петербург, уезжать хоть на какое-то время Ахматова действительно не хотела.

Однако удалось её уговорить. Лукницкий записал: «Ахматова соглашается ехать, но едет в Кисловодск по необходимости, потому что уж очень плохо состояние её здоровья, но едет с большой неохотой, почти против желания». Но, скорее всего, подтолкнула её к отъезду командировка Н.Н.Пунина.

В конце марта Николай Николаевич Пунин отправился в Японию с выставкой рисунков из Русского музея «История новой России». Из Ленинграда получал письма идиллические. От Ахматовой: «Дома всё благополучно. Уверяю тебя, что нам здесь совсем неплохо: тепло, тихо. Никто нас не обижает... Галя лелеет меня, Ира здорова». От Арнс-Пуниной: «Не тревожьтесь о нас, всё благополучно...» И всё-таки за этой «идиллией», естественно, была напряженность. И Ахматова решила на отъезд. Секция научных работников предоставила Ахматовой место в санатории в Кисловодске с 20 июня по 25 июля. В Токио полетела телеграмма: «Permettez aller Kislovodsk juin juillet. Akouma» <Разрешите поехать в Кисловодск в июне – июле. Акума (фр.) > Вдогонку телеграмме послано было письмо: «Тревога за тебя иногда вырастает до таких размеров, что я пугаюсь. <...> Глупый мальчик, который уезжает, когда не



нужно. <...> Береги себя, милая радость, и возвращайся скорее провожать меня в Кисловодск. (Написано из злонравия)».

10 мая 1927 года Ахматова посетила врачебную комиссию. Доктор Доброчаев прослушал, туберкулёза не обнаружил. Удивился, почему Ахматова выбрала Кисловодск: «Не лучше ли Сочи?» Ахматова быстро ответила: «На меня море плохо действует!»

За несколько дней до отъезда (12 июня 1927 года) Ахматова открыла газету. Тревожные известия её взволновали — неужели может быть война? И опять начала колебаться: очень не хочет ехать в Кисловодск, потому что не выносит санаторного режима («я человек пустынный»), потому что там ей придётся делить с кем-то комнату — а при её бессоннице это вызывает недовольство соседки. Там, конечно, запрещено курить и пр., и пр. Приводила даже такие доводы, что может случиться война, и она может оказаться отрезанной, потому что все пассажирские поезда будут отменены, и она останется там одна, без денег, больная, и при этом с её полным неумением «устраиваться», что-то придумывать, доставать себе удостоверение, добиваться: «Будет беспокойно, что не смогу вернуться. Оно уже есть». Тем не менее 18 июня выехала из Ленинграда «с большой неохотой, почти против желания», как записал Лукницкий.

И опять из Лукницкого: «Когда Ахматова ехала в Кисловодск, очень желала смерти себе. И только приехав, только увидав мирные горы, мирный мир — перестала хотеть смерти. Ехала туда смятенная, гневная, печальная, отчаянная... Совсем не помнит пути туда...»

Однако рассказывала, что в поезде, и когда туда, и когда обратно ехала и проезжала Дон, вспоминала Пушкина:



Блеща средь полей широких,
Вон он льётся!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далёких
Я привёз тебе поклон

...

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

Виноградники увидела по приезде. 26 июня отправила в Токио телеграмму: «Mon adresse: Kislovodsk, Krestovaia gora, Sanatoria Sekoubou. Akouma». 28-м июня датировано ответное письмо Пунина: «Милая радость, Аничка. <...> В Москве <буду> 3 августа. И надеюсь – тебя там найду. <...> Когда я немного познакомился с японским языком, мне твоё имя “Акума” стало казаться странным. <...> Я спросил одного японца, не значит ли что-нибудь слово – Акума – он, весело улыбаясь, сказал: это значит злой демон, дьяволица. <...> Так окрестил тебя В<ольдемар> К<азимирович> в отместку за твои речи. <...> Еду к тебе, счастье».

Как проходили кисловодские дни поэта, чем они были заполнены – приходится лишь догадываться. Из письма Ахматовой Л.Н.Замятиной: «Мне очень хорошо в Кисловодске, но скучно и хочется домой. Я окрепла, много хожу, не уставая, беру ванны и наконец научилась спать». Санаторные контакты Анна Ахматовой, учитывая кратковременность пребывания на Водах, вряд ли были многочисленными, тем более дружескими. Описание общества в кисловодском санатории оставил К.С.Станиславский, который отдыхал там в том же июне 1927-го: «Общество здесь чрезвычайно приятное – профессора во главе с <...> Ольденбургом, <...> артисты из



Большого театра, <...> ленинградская певица Бриан, известная поэтесса Ахматова, Качалов».

Первые дни, до 26 июня Ахматова в санатории проводила время с Маршаком (26-го июня он уехал). И вдруг в Кисловодске встретила с Р. А. Орбели. Ездил с Орбели в Железноводск и Ессентуки. Позже рассказала Лукницкому о том, что почувствовала тогда, что она может свалить на него <на Орбели> свою собственную тяжесть, и он выдержит, потому что он сильный. И она это сделала, и стала лёгкой, весёлой, не обременённой никаким грузом и здоровой. <...> Первый раз за много лет Ахматовой встретился человек, который принял её груз на себя».

В санатории Ахматова познакомилась с К. С. Станиславским. Станиславский предлагал Ахматовой написать пьесу. А когда она отказалась — предложил перевести пьесу. Тоже отказалась. Судя по мемуарным источникам, спутниками Ахматовой по дорогам Кисловодска были прежде всего профессор Рубен Абгарович Орбели и актёр Московского Художественного театра Василий Иванович Качалов, сравнительно давно знавший Ахматову. Как потом напишет Лукницкий, «была в “Алаверды” (в Кисловодске) единственной дамой в небольшой компании. Просили читать стихи. Не читала (в К.)».

Василий Иванович Качалов знал её стихи с давних пор, ещё с 10-х годов, с выхода «Чёток» и «Белой стаи», с редких предвоенных петербургских встреч. В последующие годы он с нежностью вспоминал встречу с ней в Кисловодске, когда «она была такая худенькая, бледная и вот с такими серыми глазами» — двумя пальцами показывал, с какими: от брови до щеки. Что-то его тогда, по-видимому, и тронуло и пронзило не только в её стихах, но и во всём её облике, физически почти невесомом и духовно негибачом.



Рассказывала Лукницкому, что как-то с кем-то (с Качаловым? с литературоведом Шамуриным?) подошла к Нарзану, к источнику. «Он не лился... Махнула рукой и с мрачным спокойствием сказала: «Ну, пойдёте отсюда, а то он совсем засохнет...» Местные жители говорят, что тридцать лет не было этого».

Спустя практически 40 лет в Оксфорде Виктор Франк (известный в Англии литературный критик и автор радиобесед о русской литературе) одолжил Питеру Норману магнитофон для записи. В своих воспоминаниях он пишет о том, что когда он привёз магнитофон к ним в отель «Президент», Ахматова спросила: «А вы умеете с ним обращаться?». И пожаловалась на своё неумение ладить с техникой: «Вы знаете, в 1927-м году, я была ещё молодая, поехала в Кисловодск. И там за мной ухаживали шикарные химики, академики какие-то. Так они говорили: «Ну, Анна Андреевна — человек серый. Она даже в бинокль смотреть боится, — как бы он не взорвался...»

В Кисловодске Ахматова случайно встретилась с ... (имени этого человека она не назвала или Лукницкий не записал), с которым не виделась двадцать лет и который рассказал ей подробности смерти её брата Андрея Андреевича Горенко. Он вместе с женой после смерти их маленького сына отравился морфием. Два дня они лежали в отеле. Когда кто-то взломал дверь, жена оказалась ещё живой. Теперь она в Афинах. Никому не пишет. Редко-редко только Инне Эразмовне Горенко. Для Ахматовой, как написал Лукницкий, «на Водах “самый воздух был пропитан” стихами и образами Лермонтова. “У меня в Кисловодске был роман... с Лермонтовым”. (Вообще не очень любила Лермонтова, но там соглашалась с ним; пышность его маскарадная, то, что испошлилось потом в Апухтине и пр. — у него была первона-



чальной). Почему-то Ахматова прервала свой отдых в Кисловодске на два дня раньше отмеченной в путёвке даты. Неизвестно, что послужило причиной её внезапного отъезда – тяжёлое впечатление от узанных подробностей смерти брата или весть о том, что Анна Евгеньевна Аренс уехала на время из Фонтанного Дома в деревню к родным (Получила письмо от Лукницкого: «Галя <А. Е. Аренс-Пунина> уехала в деревню к родным. Дома остались Аннушка с Тапом. <...> Все шлют Вам поклоны – и Л<юдмила> Н<иколаевна> Замятина», и Оська, и Натали».

А может быть, торопилась уехать, потому что помнила своё обещание Пунину встретить его в Москве 3 августа. (1 июля она писала Н. Н. Пунину: «Котий, Котий, когда я увижу тебя. Пусть ничего не случится с нами до этой встречи». Легко было понять, почему после внезапного отъезда Ахматовой из Кисловодска Василию Ивановичу Качалову стало тошно “даже смотреть на оставшихся дам:, о чём он тут же её известил в довольно длинных стихах, отправленных ей вслед:

Скучно и грустно, что Вас с нами нет.
Грустно завял на окне мой букет,
Вам предназначенный. Тщетно я с ним
Всюду искал Вас, тоскою томим, –
В окна заглядывал двух поездов,
Но не нашёл никакейших следов,
Весь кисловодский обрыскал вокзал,
Возле уборной я даже Вас ждал
(Дамской, конечно), но след Ваш простыл.
И восвояси, угрюм и уныл,
Вновь в Цекубу возвратился и там
Даже смотреть на оставшихся дам
Я не хотел, и не пил, и не ел,
Вот как меня Ваш поступок задел.



Последняя встреча Ахматовой и Качалова произойдёт почти через 20 лет, весной 1946 года. В. Виленкин вспоминал: «Судя по краткой записи у меня в дневнике, поначалу всё шло в этот вечер довольно напряженно. Василий Иванович в передней, помогая Анне Андреевне, приехавшей позже, снять пальто, от волнения сказал что-то совсем несуразное, вроде: “Но как вы... возмужали”, явно вспоминая Ахматову 1927 года и не находя слова. За круглым столом в булгаковской уютной синей столовой часто возникало молчание. В тот вечер у Елены Сергеевны (Булгаковой) было мало гостей — ещё только Вадим Шверубович с женой, балериной Большого театра Е.В. Дмитриаш, и я. Шли какие-то довольно натужные рассказы. Василий Иванович стал вспоминать встречу в Кисловодске, свои тогдашние стихи, что-то даже попытался процитировать. Анна Андреевна если и не подхватила, то, во всяком случае, с улыбкой поддержала эту тему; за столом стало чуть-чуть теплее. По какому-то поводу, тоже в связи с какими-то общими воспоминаниями, кажется, она вдруг сказала Качалову: «Мы ведь с вами канделябры эпохи, не правда ли?» Шутила, одобрительно принимала шутки. Ела, пила вместе с нами. И всё-таки оставалась чем-то от всех нас отъединённой. Так мне, во всяком случае, казалось. И не в первый раз. Глядя на Анну Андреевну в обществе, я иногда невольно думал: вот ведь и проста, и оживлённа, и естественна, и острым словом владеет, и улыбается искренно на иную остроту, а всё — одна, всё сама с собой, всё какое-то присутствие-отсутствие».

...Тогда, 23 июля 1927 года, уже из Ленинграда, возвратившаяся с Кавказа Анна Ахматова телеграфировала в Бежецк свекрови и сыну: «Вернулась из Кисловодска. Жду вашего приезда. Аня». 3 августа 1927 года послала записку ближайшей подруге



Наталье Рыковой (Гуковской): «Ангел мой, Натали, вот Николашины открытки из Нары. Сам он будет здесь завтра. Напишите нам. Я вернулась с Кавказа здоровой и весёлой. Не чудо ли?» Чудо и в том, что именно в Кисловодске было прервано трёхлетнее молчание поэта Ахматовой:

Здесь Пушкина изгнание началось
И Лермонтова кончилось изгнание.
Здесь горных трав легко благоухание,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час –
Сияние неутолённых глаз
Бессмертного любовника Тамары.
Июль 1927, Кисловодск

Десять лет и год твоя подруга...

Десять лет и год твоя подруга
Не слыхала, как поёт гроза.
Десять лет и год святого юга
Не видали грешные глаза.
Июль 1927, Кисловодск

Как взглянуть теперь мне в эти очи,
Стыден и несносен свет дневной.
Что мне делать? – ангел полуночи
До зари беседовал со мной.
1927 г., Кисловодск

Может быть, и стихотворение, написанное через год, в 1928-м, в ответ на смерть Михаила Циммермана, в котором отразится память и о смерти в Крыму Н.Недоброво, тоже подсказано кипарисами Кисловодска:



Если плещется лунная жуть,
Город весь в ядовитом растворе.
Без малейшей надежды заснуть
Вижу я сквозь зелёную муть
И не детство моё, и не море,
И не бабочек мрачный полёт
Над грядой белоснежных нарциссов
В тот какой-то шестнадцатый год...
А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.

1 октября 1928

Подписано в печать 00.09.2019.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia»/ Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ №318-4. Тираж 979 экз.
Дизайн и вёрстка: С.Е.Стефанова
Корректор: В.Б.Иванов
Отпечатано в типографии «Фаворит»:
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Трудовая, дом 50, кв. 10
Тел.: 8-958-649-53-31.